Марио Романьоли

Эй, там, на летающей тарелке!

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта необычная по жанру книга, посвящённая психологическим проблемам семьи, читается как увлекательная повесть. На реальном житейском материале здесь рассматриваются отношения между детьми и родителями. Особенное внимание уделено сложностям воспитания детей с большой разницей в возрасте. Читатель найдёт здесь множество ситуаций из современной жизни, осмысление которых помогает творческому человеку ориентироваться в лабиринте семейной педагогики.

Мария Романушко – автор нескольких стихотворных книг, а также повестей и рассказов, посвящённых детству и творчеству (“Наши зимы и лета, вёсны и осени”, “Побережье памяти”, “Не прощаюсь с тобой”, “Карантин” и пр.).

- Мария Романушко
  - ПЕРЕБИРАЯ ЕЩЁ НЕ УСПЕВШИЕ ПОЖЕЛТЕТЬ ЗАПИСКИ
    -
    - “ВИШНЁВАЯ КОСТОЧКА,
    - ПОСТ-СКРИПТУМ
  - ИКСИК
    - ДОРОГА ДОМОЙ
    - ПЕРВАЯ НОЧЬ ДОМА
    - ЦЕПЬ ЧУДЕС
    - МИЛЫЙ ИКСИК…
    - НЕ ЗАБЫТЬ:
    - ПАПА УШЁЛ В ОТПУСК
    - О ЧЁМ ОНА ПЛАЧЕТ?
    - НАШ НОЧНИК
    - НАШ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ
    - УТРЕННИЕ СВИДАНИЯ С СЫНОМ
    - “КУДА УЛЕТЕЛ НАШ ПРОФЕССОР?”
    - ВОЛШЕБНЫЙ ТЕАТР
    - МОЙ МАЛЬЧИК. МОЯ ДЕВОЧКА. МОЙ МИЛЫЙ.
    - НАША МАЛЕНЬКАЯ КВАРТИРКА
    - “НОЧНЫЕ ЗАСТУЛЬЯ” -
    - О ПЛАЧАХ
    - “А ЭТО ПРИШЁЛ НАШ БРАТИК”
    - “ТЫ ПРАВА: ОНА УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ”
    - И ОПЯТЬ:
    - НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

- СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА
- ОНА СРАЗУ НАЧАЛА С МОНОЛОГОВ
- ЕЩЁ РАЗ О ПЛАЧАХ

○ “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, МАМА!”
- И ОПЯТЬ СЛЁЗЫ…
- “ТЕБЕ НЕЛЬЗЯ ЧИТАТЬ ЭТИ ГАЗЕТЫ”
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- “МАМА, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!”
- ПОТОМ ДОКТОРОВ БЫЛО МНОГО
- ВОПЛЬ ДУШИ:
- НАШ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
- НА ОСТАНОВКЕ В БУСИНОВО
- Я ХОЧУ НАПИСАТЬ ТЕБЕ ПИСЬМО
- “ОНА УЖЕ ЧИТАЕТ ЗА ЕДОЙ!”
- “А ГДЕ КСЮША ТОГДА БЫЛА?”

○ ЧТО ВЫ МНЕ ПОСОВЕТУЕТЕ?
-
- ЗВОНОК ДОКТОРА
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ…

○ НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ
-
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ

○ ГРЕМИТ ПОГРЕМУШКА, ГРЕМИТ ЭЛЕКТРИЧКА…
- СИНЯЯ РЫБА, РЫЖЕВОЛОСЫЙ ГИВИ И ДРУГИЕ
- “ТАК ЗНАЧИТ, ВСЕ-ТАКИ ЦИРК?”
- ВЕСЁЛЫЕ ВТОРНИКИ
- Я ХОЧУ НАПИСАТЬ ТЕБЕ ПИСЬМО
- “ВСЕГДА, ВСЕГДА, ВСЕГДА Я С ТОБОЙ!”
- ГДЕ Я НАЙДУ НАШ РАЙ?
- “ОЙ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!”
- БРАТ И СЕСТРА
- ПОЖАР НА СОСНЕ
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- ПОЖАЛУЙСТА, УЛЫБНИСЬ ЕЙ
- ГРЕМИТ ПОГРЕМУШКА, ГРЕМИТ ЭЛЕКТРИЧКА…
- РАЗБИРАЯ ЯЩИК СО СТАРЫМИ ИГРУШКАМИ
- ОНА СМОТРИТ НА СИНИЙ ПАРУС
- РАЗБИРАЯ ЯЩИК СО СТАРЫМИ ИГРУШКАМИ

○ НЕ ПРОШЛО И ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
-

- ДВЕ МОНАШЕНКИ В МЕТРО НАПРОТИВ
- Я ТЕБЯ, НАКОНЕЦ, УГОВОРИЛА
- О ТОМ, КАК Я ЕЗДИЛА В “ДЕТСКИЙ МИР”

○ ТЫ СПИШЬ ПОД БЕРЁЗАМИ

-
- МОЖЕТ ЛИ ПОСТАРЕТЬ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА?…
- МОЖЕТ ЛИ ПОСТАРЕТЬ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА?…
- МОЖЕТ ЛИ ПОСТАРЕТЬ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА?…
- НАШ ФЕЛИКС
- КЛЕР
- КРЕЩЕНИЕ
- ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИСАТЬ:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИСАТЬ:
- ДВАЖДЫ ДВАДЦАТЬ (страничка из дневника),
- МЫСЛИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С СЫНОМ
- О ПРЕДРАССУДКАХ
- КРАСНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ
- ПРАЗДНИК ПЕРВОГО БАНТИКА

○ НЕИНТЕРЕСНОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫВАЕТ

-
- МАЛЕНЬКИЙ МАНЕЖ ПОСРЕДИ ОГРОМНОГО МИРА
- БРАТ И СЕСТРА
- МАЛЕНЬКИЙ МАНЕЖ ПОСРЕДИ ОГРОМНОГО МИРА
- ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА, или ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В РЕСТОРАНЫ?
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- БРАТ И СЕСТРА
- ГУЛЯЕМ В СКВЕРЕ
- О КСЮШИНОМ ВЗГЛЯДЕ
- ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- ПРО ЧЕМОДАНЧИК
- ВДРУГ ВСПОМНИЛОСЬ:
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- НАША МАЛЕНЬКАЯ ПЕВУНЬЯ
- НАДО ЛИ ЕЙ НЕ ПЛАКАТЬ?
- БРАТ И СЕСТРА
- ГРУСТНОЕ ОТКРЫТИЕ
- ДЕНЬ ВЕЛИКОГО РАССПРОСА

- БРАТ И СЕСТРА
- ДО И ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО СЕНТЯБРЯ
- ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ
- ПРО АКРИДЫ, СВОБОДУ ВЫБОРА И КГ МЯСА
- ДЕНЬ ДЕВЯТОГО СЕНТЯБРЯ
- ВСПОМНИЛОСЬ: “УБЕЙ ЕГО, ВАСЯ!”
- КОГДА-ТО ДАВНО Я НАПИСАЛА КНИГУ О ДЕТСТВЕ СЫНА
- ВЧЕРАШНЯЯ ПРОГУЛКА
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- ПЕРЕЛИСТЫВАЯ “ПАРИ МАТЧ”
- НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ
- БРАТ И СЕСТРА
- “ЭЙ, ТАМ, НА ЛЕТАЮЩЕЙ СОСКЕ!…”
- ДЕВОЧКА У ОСЕННЕГО ОКНА
- ЭТОТ ДОЖДЬ

Мария Романушко
Эй, там, на летающей соске!

ПЕРЕБИРАЯ ЕЩЁ НЕ УСПЕВШИЕ ПОЖЕЛТЕТЬ ЗАПИСКИ

Глава первая

“Сынок! Не скучайте тут без меня. Скоро будем опять вместе. Скоро будет та-а-ак весело!… Мама.”

Это – ДО.

ПОСЛЕ действительно было весело.

После – то есть СЕЙЧАС…

А между ДО и ПОСЛЕ была целая жизнь. Дюжина дней – как дюжина лет.

Тёплый пушистый снег, под которым мы с тобой прощались. А до этого – дома, – с перепуганным Антошей. Он боялся за меня и боялся, что я увижу, что он боится, и потому отводил взгляд. “Молись за меня”, – попросила я. “Конечно”. – “И я за тебя. Каждый вечер. Как всегда, перед сном”. Мы поцеловались, я привстала немного на цыпочки, он слегка наклонился ко мне. Мой вырастающий сын…

Потом был тёплый пушистый снег, мягко падающий на лицо, и мы с тобой – тихо бредущие под этим снегом к мягко хлопающей двери, которая должна была разделить нас, отделить тебя от меня, вернее: тебя от тебя, меня от меня, разделить целое на две половины – зачем? По чьей прихоти? Почему нельзя вместе до конца? Почему где-то там – далеко, не у нас – можно, а здесь – нельзя, и не просите, и не требуйте, бесполезно, лишняя трата нервов.

Я войду, ты останешься здесь. Снег, снег… И твои слова, такие необходимые мне, которые ты неутомимо, как молитву, твердил мне все эти долгие месяцы: “Всё будет хорошо. Всё будет хорошо! Вот увидишь: всё будет хорошо”. – “Увижу… Скоро уж увидим…”

“Любимые мои мальчики! Устроилась нормально. Чувствую себя хорошо. Я спокойна, я совершенно спокойна, я плыву по течению… Плыву – и вижу вас, мои любимые, вижу потрясающее небо за окном, и старомосковские крыши в снегу… А совсем рядом – наша Крыша! Её близкое присутствие озаряет этот уголок

Москвы особым светом. И я знаю, что всё будет хорошо! Мне кажется, я уже об этом знаю".

"За окном всё время качается отчаянно берёза… И мне чудится, это Антончик взбирается на неё – и я вот-вот увижу его в окне…"

"Спасибо за цветы! Несмотря на мороз, они доехали прекрасно. Они пахнут снегом и нашими цикламенами. Нашей зимой и нашим домом… Соскучилась по вас!"

Неделя ожидания. Скрашенная записочками, письмами, долгими взглядами и улыбками – сквозь замороженное окно… Вдруг ударили сумасшедшие морозы.

О, как далеко ты внизу – там, под деревом, у заиндевелой решётки ограды, пританцовываешь на скрипучем снегу. А я здесь, вверху – закупоренная в жаркой духоте палаты, как глиняный сосуд в раскалённом муфеле. Тебе холодно, мне жарко.

Нам обоим холодно и жарко при мысли: как оно всё будет?…

В один из вечеров ты принёс из дому монокуляр, нашу маленькую подзорную трубу, через которую мы обычно смотрим на звёзды с нашей лоджии и на ледяную гору в соседнем дворе, куда убегает Антончик с картонкой или санками; а ещё на Куркинскую церковь, которая пасхально белеет на горизонте… Ты смотрел на меня в монокуляр, а я радовалась и смеялась, и ты видел: я спокойна и мне совсем не страшно.

Но страшно – было. Чем завершится это томление в жарком терему с замороженными окнами?…

"Как вы там, мальчики мои любимые? Я о вас всё время думаю, я с вами, рядышком, каждую минуту…

Здесь у медперсонала странная манера: выкликать нас не по фамилиям (и уж, конечно, не по именам!), а, как зэков, по номеру. (По номеру койки). "Семьдесят девятая, на укол!", "Восемьдесят шестая, тебе письмо". Восемьдесят шестая – это я…"

В тугом конверте, вместе с письмом, журнал с моей повестью и десять страничек компьютерной распечатки. Ты пишешь: "Получился отличный рассказ". Рассказ? Я и не думала, что получится рассказ. Писала письмо вам (думала временами: может, прощальное? и ругала себя за пессимизм). Письмо это я торопливо заканчивала в то утро, когда ты побежал за такси, чтобы везти меня сюда. Ты голосовал на снежном перекрёстке, а я быстренько-быстренько его дотюкивала на нашем стареньком компьютере. Ни распечатать, ни прочесть не успела. Так что

сегодня читаю его первый раз и страшно волнуюсь…

“ВИШНЁВАЯ КОСТОЧКА, или ПОКА МЫ С ТОБОЙ ОДНО

…Мы сидели на Старом Арбате, на новом Старом Арбате, на котором кипела многоликая – не то, чтобы весёлая, но и не скучная – жизнь, во всей своей слегка натужной пестроте… Был апрель. Тёплый, почти жаркий вечер. А всего неделю назад шёл снег!… Кажется, это его – последние, не успевшие растаять хлопья нежно и призрачно белеют на тонких ветвях маленькой вишни во дворике напротив…

Мы сидели под лёгким ярким тентом летнего кафе, каких теперь пруд пруди на Старом Арбате, и ели мороженое. Сверху мороженое было украшено ледяными и хрустящими, как сосульки, вишнями. Три вишни в твоей вазочке, и три – в моей.

Вокруг кипела немного наивная в своей нарочитой многозначительности жизнь, что-то бурно обсуждала молодая компания, присевшая за соседний столик, а мы не спеша лизали своё мороженое, изредка переглядываясь и улыбаясь *своему*.

“А вдруг?…” – спросила я тебя шёпотом. (Хотя можно было и не шёпотом: ведь мне казалось, что сейчас на этой шумной улице, да и в целом городе, нас только двое). “Почему, собственно, и нет?” – ответил ты тоже шёпотом. И сильно и нежно сжал мою руку. Сердце моё колотилось. Лицу было жарко. “Действительно, – подумала я, – почему бы и нет?…”

За щекой у меня колючим льдистым шариком – вишня, последняя из трёх. Я с блаженством дососала её морозную мякоть; а косточка так и осталась за щекой.

Косточка была маленькой, удивительно крепкой и нежной. И я загадала…

Так – с вишнёвой косточкой за щекой – я шла потом с тобой по Арбату, залитому ярким закатным солнцем… Мы шли по солнечной стороне, подставив лица под эти блаженные потоки тепла и света, шли, ничего не замечая вокруг себя, – почти наощупь… Мы шли, держась за руки, – как когда-то, как семнадцать лет назад, когда мы впервые гуляли с тобой по Арбату. Правда, тогда это была совсем другая улица. Но также слепило солнце, и мы были – те же…

Только теперь мы на семнадцать лет… нет, не старше, – моложе! Тогда – мы не верили в чудо. Не верили, что у нас есть будущее. Теперь – мы жили в этом сказочном будущем. Теперь – верили. А те двое, бредущие по Арбату семнадцать лет тому

назад, из нашего сегодня казались нам угрюмыми старичками… Бедные, бедные! и как они выжили, не ведая, как щедра на чудеса жизнь?…

Так – с вишнёвой косточкой за щекой – я и приехала домой. (Помнишь, какой был потрясающий закат над Москвой, когда такси, лёгкое, как пух, несло нас по распускающимся улицам, словно подёрнутым зелёной дымкой?…) Я ничего не сказала тогда тебе про свою заветную вишнёвую косточку и спрятала её до поры-до времени в маленькую шкатулку, где у меня хранится самое-самое… “Потом, – сказала я сама себе. – Потом. Если произойдет и *это* чудо… Потом скажу”.

* * *

…И вот – декабрь…

Я смотрю из окна на улицу, всю запушённую праздничным инеем (никогда в жизни я не ждала с таким нетерпением зиму: иней, холода, первый снег!) Только что я взглянула на вишнёвую косточку. Взглянула впервые с того апрельского вечера. Косточка на месте и – цела.

Декабрь…

Последние восемь месяцев нашей жизни живут во мне как НЕЧТО единое и неразделимое на месяцы и дни. Месяц, приходящий на смену предыдущему, не затмевает его – а лишь обостряет, усиливает, углубляет… Как новый мазок на картине.

* * *

…Я лежу на лоджии, смотрю в лёгкое майское небо, закиданное нежными серебристыми сугробами облаков, и разговариваю с тобой. С тобой – нашей Нечаянной Радостью. Тебе сегодня – шесть недель. И… почти восемь месяцев до твоего появления на свет.

Взяла блокнот, расписала грядущие восемь месяцев; что надо успеть сделать: написать, закончить и т. д.

А сама ничего не делаю вот уже неделю – с того дня, как

окончательно стало ясно: ты во мне, ты есть, и я с тобой ни за что не расстанусь!

Нет, всё-таки кое-что я сделала: дописала главу в новой повести; вычитала свою первую повесть. Но надо работать много, надо много успеть – успеть всё то, до чего *потом* руки долго-долго не дойдут…

А настроение такое странное, что не работается: хочется или дремать блаженно, сквозь сон прислушиваясь к тому, что происходит у меня внутри, – или смотреть в небо: утреннее, полдневное, вечернее, – и думать о тебе…

В небе носятся ласточки. Они быстро-быстро машут крылышками; хочется сказать: моргают крылышками… Вернее: хочется сказать: “*Видишь*, как они моргают крылышками? Видишь?” Наверное, видишь… Через меня. Моими – нашими – глазами.

А во мне – тихо-тихо… Как-то всеобъемлюще ТИХО. Так тихо во мне никогда ещё не было. Ни тринадцать лет назад, когда я ждала Антошу. Ни четыре года назад, когда ждала нашу девочку… Девочку, которая так и осталась без имени… В те разы – всё было по-другому. Совсем по-другому.

Тихо-тихо… И в этой тишине… *посреди* этой незнакомой, блаженной тишины словно бы распускается невиданной красоты цветок… Белая Роза! Я чувствую в себе это белоснежное, это кружащее голову распускание…

* * *

Интересно, как к этому отнесётся Антон? По-моему, он уже догадывается. То и дело так странно взглядывает на меня. Такие быстрые, смущённые, вопросительные взгляды… Я теряюсь. Я пока не нахожу слов. Я боюсь сглазить. Боюсь опять – как четыре года назад – пообещать и – не оправдать его надежд…

“Чуть-чуть попозже… – говорю я себе, – через месяц, когда уже можно будет надеяться…”

…Помню: Господи, как же ты ждал четыре года назад нашего маленького! Сколько разговоров об этом было, сколько вопросов!… Ты высчитывал месяцы, высчитывал дни, ты сгорал от нетерпения, ты собирался вести дневник о НЁМ (или – о НЕЙ), ты собирался выпускать ежедневную газету. “Сколько новостей каждый день будет!…” – захлёбывался ты от восторга, от

счастливых предчувствий. И была весна…

…Помню: мы гуляем в октябрьском сквере, шуршим сухой кленовой листвой. Мы бредём, взявшись за руки, по золотому сверкающему морю и молчим. Господи, как же нам нестерпимо грустно в этом сверкающем, многоцветном мире. Я знаю, о чём думаешь ты. Ты знаешь, о чём думаю я. Говорить – больно и трудно. И всё же я не выдерживаю твоего скорбного молчания. Осторожно спрашиваю: “О чём ты думаешь, сынок?”

Ты отзываешься не сразу.

– Я думаю… – говоришь ты едва слышно, с трудом пересиливая невозможность говорить *об этом*. – Я всё думаю… *какой бы она была?*…

Мы стоим посреди жёлто-красного, нестерпимо горящего на солнце, моря… Больно глазам. Больно сердцу. Только бы не разрыдаться.

Какой бы она была?… Наша девочка – которая ни разу не улыбнулась нам. Которую ты так и не увидел. Наша девочка… Которую ты не успел назвать сестрой.

Сынок, милый, когда-нибудь ты узнаешь, что с нами – со мной *и с нею* – произошло месяц назад. Когда-нибудь я расскажу тебе, что значит побывать в руках инквизиции. Да, да: инквизиции! По-другому не скажешь. Но – не сейчас. Сейчас – нет сил, слишком близко ещё всё…

Мы стоим посреди шелестящего октябрьского моря… Ты смотришь на меня своими тёмно-золотистыми печальными глазами. Нет сил выдержать этот взгляд.

“Родной мой, она вернётся!” – я обнимаю тебя, маленького и скорбного, прижимаю к себе крепко-крепко. – “Слышишь?” – “Слышу…” – “Я обещаю тебе. Ты веришь мне?” – “Верю… А когда она вернётся?” – спрашиваешь ты. “Не знаю, милый. Может, и не скоро… Но обязательно вернётся! А мы будем верить и ждать. Верить и ждать. И она услышит нас – и вернётся, вот увидишь!”

Ты поверил мне. Я сама поверила себе!

* * *

В ту осень тебе было девять лет. Сейчас – тринадцать. Тогда ты ещё сам был ребёнком. Я наклонялась, чтобы поцеловать тебя в затылок. Ты обожал малышей, и все малыши нашего двора обожали тебя…

Сегодня ты – почти юноша. И мне уже приходится

становиться на цыпочки, чтобы поцеловать тебя в щеку. На которой уже появляется первый пушок… У тебя появились приятели-ровесники, и ты потерял интерес к маленьким. Всё чаще теперь я слышу от тебя: “Малыши такие неприятные… Всё время пищат”.

Как же тебе сказать? И как ты отнесёшься к *этому* – теперь?…

Но отмалчиваться дольше – невозможно. Твои взгляды всё удивлённее. “Мама, ты какая-то странная стала…” – Почему странная? – “Ты раньше такая худенькая была…” – Просто это у меня юбка такая, – говорю я как можно непринуждённее. – Такой фасон: цыганская юбка… – и смеюсь.

Веришь ты мне – или не веришь?

…И вот настаёт день, когда я, набравшись духу, говорю тебе:

– Я хочу тебе открыть один большой секрет.

– Секрет? – ты быстро взглядываешь на меня и… краснеешь. – А зачем? какой секрет? – говоришь ты, потупляясь в тарелку. (Разговор происходит за обедом. Я только что вернулась от врача, который мне сказал, что самый опасный срок миновал – и можно надеяться…)

– Секрет, о котором ты, по-моему, уже догадываешься… – говорю я, обмирая при каждом слове.

Ты опять быстро и смущённо взглядываешь на меня:

– Это… про “цыганскую юбку”?

– Про “цыганскую юбку”.

Мы смотрим друг другу в глаза и – облегчённо смеёмся…

И вдруг – вновь потупившись в тарелку – вопрос. Вопрос, которого я никак не ожидала. Какой-угодно – только не этот.

– А… зачем ты это сделала?

И – взгляд в упор. Уже без смеха, уже без улыбки. Я на несколько мгновений (которые нам обоим кажутся бесконечными) лишаюсь дара речи.

Наконец, справившись с собой, я говорю:

– Чтобы выполнить обещание, данное тебе четыре года назад.

– Какое обещание? Я не помню, – говоришь ты изумлённо.

– Неужели не помнишь? Ну, той осенью… когда погибла наша девочка, твоя сестра… Помнишь, я пообещала тебе, что она вернётся?

– Не помню… – искренне говоришь ты. – Это так давно было.

– А я помню. Все эти годы помнила… Ты же знаешь: я всегда выполняю свои обещания.

– Это так… – говоришь ты. – А откуда ты знаешь, что это – *она*?

– Я не знаю. Может, *он*. Откровенно говоря, мне даже

кажется, что на этот раз – *он*. Но разве это так уж важно?…

– Нет, конечно…

В комнате надолго воцаряется молчание. Я вижу, как тебе непросто. (А разве мне было просто, когда я узнала?) Молчание затягивается, и мне становится не по себе.

– Ты не рад? – робко спрашиваю я.

– Не знаю… – пожимаешь ты плечами. – Всё это как-то…

Ты ищешь подходящее слово – и не можешь его найти. А я вдруг понимаю, *что* ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать: “Поздно”. И ты действительно грустно произносишь:

– Я уже вырос. Такая огромная разница в возрасте. Что у нас может быть общего?

– Что общего?… Жизнь. Наша жизнь.

И я начинаю горячо убеждать тебя, что тринадцать лет (точнее – четырнадцать, ведь к *его* приходу тебе уже будет четырнадцать) – это не такая уж большая разница. “Разве ты чувствуешь, что у нас с тобой разница двадцать пять лет? Разве эти двадцать пять лет мешают нам быть друзьями и жить общей жизнью?” – “Нет, конечно!”

…И вечером, перед сном, сидя рядом с тобой на диване, держа тебя за руку и глядя на огромную рыжую луну, висящую над самой лоджией (ты спишь на лоджии), я продолжаю убеждать тебя, что четырнадцать лет разницы – это не огорчение, а – благо. Я рассказываю тебе множество историй, когда брат и сестра были по-настоящему душевно и духовно близки именно благодаря большой разнице в возрасте.

– Представляешь, ты будешь для него (или для неё) проводником в этом мире! Самым главным авторитетом. Господи, да я всю жизнь мечтала иметь такого брата, как ты! Сильного, умного, ничего не боящегося. Только мне было не дано… Ты, миленький, даже не осознаешь ещё, какая замечательная роль тебе уготована!

И ещё долго говорили мы… А луна, как красный китайский фонарик, огибала нашу лоджию, нежно подсвечивая виноградные лозы, ползущие по перилам. Твоё, такое детское в темноте, лицо.

Ты уснул успокоенный и ободрённый… Сегодня ты уснул не просто моим единственным сыном, а – старшим братом. Старшим братом того, кого мы отныне ждём не втайне от тебя – а вместе с тобой.

* * *

…Восемь месяцев не прекращается цветение в моём изголовье. На маленьком столике у постели.

Просыпаясь, я тут же окунаюсь взглядом в цветущие кущи…

Наверное, за всю мою предыдущую жизнь не было у меня столько цветов – как в эти восемь месяцев…

Всё, что в эти восемь месяцев расцветало на земле, – ты нёс мне, любимый. Мне и нашему малышу. Нашему загадочному Мистеру Иксу. Нашему Иксику, как ласково называем мы его между собой.

Парад Цветов открыли нарциссы и фрезии. Их сменили тюльпаны и сирени… Охапки белой, лиловой и сиреневой сирени целый месяц, даже дольше, день и ночь кружили мне голову своим глубоким, как ночь, звёздным ароматом, – уводящим в неведомое, вселяющим надежду на невозможное… И сияли в сумерках светлой летней ночи белые и голубые ромашки, и будили по утрам прохладным дыханием пионы, и розы, и георгины, и весёлый цветной горошек, и бархатцы, и ласковое солнце ноготков… Обо всех – о каждом! – мне хотелось бы написать целый рассказ, или стихотворение. Всех впитала в себя, вобрала в себя, выпила – как волшебное вино…

Цветы, принесённые тобой, милый, вливали в меня силу. Крепили надежду.

“Скажи, что всё будет хорошо!” – “Конечно же, всё будет хорошо, любимая!” Наша ежевечерняя молитва. Мольба. Обещание друг другу.

И я засыпала, погрузившись вглядом и душой в цветущий райский сад… “Всё будет хорошо”.

* * *

А помнишь, любимый, красную гвоздику на снегу?…

Был апрель, воскресение, весь день мела, не утихая, метель… Она спеленала глухими белыми ласковыми пелёнами весь мир. Мы вышли продышаться на безлюдную мохнатую улицу… Было тепло, пушисто, ласково. И – ни души вокруг. Мы долго шли по пустой аллее, и метель, смеясь, превращала нас в два пушистых кокона…

А на обратном пути, уже подходя к дому, на белой безлюдной тропинке, мы увидели… красную гвоздику! Ярко-красную гвоздику – на белом-белом снегу. И не одну, – а с бутоном! Ты

поднял с тропинки неведомо кем брошенный нам под ноги подарок, и мы принесли его домой. И поставили в воду. Ярко-красную гвоздику с тугим бутоном. “Словно детёныш”, – сказал кто-то из нас.

И мы ещё не знали, что чудо (то чудо, на которое мы уже не надеялись) уже свершилось!… И что не зря, неспроста упал нам под ноги этот красный цветок…

* * *

…А через две недели молоденький врач деловито советовал мне: “Вам надо поторопиться. Ещё успеваете на мини. Ведь вам в вашем возрасте ребёнок не нужен?”

Нет, он не спрашивал. Он утверждал. Он и заподозрить не мог в моих мыслях и желаниях что-то иное. “Главное, не затягиваете. Желаю удачи!” – напутствовал он меня.

Мне – тридцать девятый год. У нас с тобой на двоих – трое детей. И я вовсе не похожа на сумасшедшую. К тому же – вовремя узнала и успеваю на мини… Так что никаких проблем. Так, по крайней мере, считал молоденький разумный доктор. “Желаю удачи!”

…И была ночь без сна… Я говорила себе: конечно же, я не выдержу, моему сердцу с этим уже не справиться… Конечно же, уже поздно: этот нежданный подарок, эта красная гвоздика на снегу… “Вам надо поторопиться, ещё успеввете на мини”, – назойливо звучал во мне голос молоденького доктора-желаю-удачи.

Господи, но разве мини-убийство чем-нибудь отличается от убийства? Разве есть в убийстве ступени или градации: мини, миди, макси?…

А память тут же услужливо воскрешала во всех ужасающих подробностях то, что было. Четыре года назад. Со мной и нашей девочкой… И страх леденил душу. Господи, ещё раз решиться на такое?! Господи, кто мне может дать гарантию, что в этот раз всё будет благополучно?

“В нашей стране никто вам такой гарантии не даст”. Это – голос уже другого доктора. Другого – но такого же трезвого и доброжелательного.

Все, все желали мне добра!… Макси-добра за счёт мини-убийства.

Только ты, любимый, не верил, что я поддамся этим разумным советам. “Вот увидишь, всё будет хорошо”, – говорил ты. И… отводил глаза, не выдерживая моего взгляда. Прости! но в те апрельские дни я не слышала в твоём голосе уверенности. В те дни мы ещё не знали, найдутся ли люди, которые поймут нас, не назовут безумцами и захотят нам помочь. Мы ещё не знали… И потому твоё утешающее, твоё полное любви “всё будет хорошо” – заглушалось (как тихий шёпот листвы – рокотом океана) – другим: жёстким, не оставляющим надежды: “В нашей стране никто вам такой гарантии не даст!”

“Может, нам эмигрировать на эти девять месяцев?” – попробовала пошутить я.

…И была ночь. Бесконечная ночь без сна. Ночь тёмная и долгая…

И тут я увидела *его*. Нет, я не спала, и это был не сон! Уже серело окно в горьких сумерках… И голова моя была ясной, хоть и тяжёлой от бессонницы.

Он сидел на высоком стульчике. Как раз напротив светлеющего окна. Совсем близко от меня… Маленький светловолосый ребёнок. *Наш* ребёнок! Ещё не родившийся. Он сидел на стульчике, трогательно скрестив ножки в голубых ползунках, и смотрел на меня… Ему было месяцев семь, или восемь. Мне показалось, что это мальчик. У него были тёмно-серые глазки. И эти глазки смотрели на меня с немым вопросом.

* * *

…А потом был май. И всё вокруг цвело, как безумное!… Год повышенной солнечной активности. Всё цвело одновременно: вишни, яблони, черёмуха, каштаны… И когда я стояла на лоджии нашего тринадцатого этажа, высматривая, не идёшь ли ты от метро, – казалось, что внизу, вокруг нашего дома, – плещется белопенный океан… Что наш дом плывёт по этому цветущему океану…

“Господи, как долго ещё!… – думала я. – Выдержу ли?…” И хотелось закрыть глаза – и тут же открыть – и чтобы всё вокруг было таким же белым, только не в цвету – а в снегу…

* * *

…И вот я открываю глаза – и всё в снегу…

А в изголовье у меня – свежо пахнущие метелью хризантемы.

“Вот и долгожданный декабрь! Ты так ждала его… – говоришь ты. – Поздравляю!” – “И я тебя, милый!”

* * *

А помнишь соловья, который неистово щёлкал в сиреневых кустах?… А ласточек, моргающих крылышками? А как Иксик впервые постучался, помнишь?… На полтора месяца раньше обозначенного во всех книжках срока!

* * *

Я – с той ночи, когда он явился мне – была уверена, что мальчик. Но пришёл Юрий Михайлович – Юмих, как мы его ласково называем между собой, наш семейный доктор, и сказал голосом, не терпящим возражений: “Девочка!”

С тех пор я жду то Иксика, то – Иксюшу…

Целый месяц (это ещё весной) я читала только одну книгу: “Словарь имён”. Вы – ты и Антон – соглашаетесь на любое, предложенное мной. Столько прекрасных!… Что я согласна родить тройню (как минимум!): Ксюшу, Родьку и Митю. А ещё можно Тёму. И Тима…

Ах, почему мне тридцадь девять – а не девятнадцать? Тогда бы я родила *всех* наших детей!…

* * *

Но для девочки у меня только одно имя – без вариантов. Оно пришло ещё прошлой осенью, в ноябре, в утро Первого Снега…

…Я шла по безлюдному, тихому скверику. Было волшебно красиво вокруг: на чёрных влажных деревьях лежал белый-белый снег… Ветви старых ясеней низко склонились над моей

тропинкой, образовав графически очерченную, чёрно-белую арку. В то утро в мире было только два цвета: чёрный – и белый. Только два. Никаких полутонов, переходов, ничего между. Только два: чёрный и белый. И от этого максимализма, явленного природой, все чувства внутри обострились…

Я вспомнила о нашей ушедшей девочке, хотя я о ней никогда не забывала, но случались минуты какого-то особо острого вспоминания, и было очень больно, что она ушла, не успев обрести имя. Ушла безымянной. И теперь, думая о ней, я не знала, как к ней обратиться…

И вот я шла по белой тропинке: ни души вокруг, ни следа на чистом снегу… А сколько было бы сейчас нашей дочке? Уже три годочка…

Над тропинкой низко-низко нависла ветка. Чёрная ветка, ярко очерченная белым. И в ту минуту, когда я взглянула на эту ветку… да, да, именно в эту минуту, точнее – мгновение, я вдруг явственно услышала: *“Ксения…”*

Это сошло откуда-то сверху – вместе с тихим, чистым снегом… И я сразу поняла, что это – имя Нашей Девочки. Ксюша! Ксения!… Словно она пролетела надо мной в это мгновение и тихо шепнула его мне сама…

* * *

…Твоё первое шевеление я ощутила 29 июня, когда тебе было 14 недель. (А вовсе не в 20 недель, как предписано книжками!)

Это случилось как раз в тот день, когда мы ездили к чудесному доктору. Всё-таки нашёлся доктор, который не счёл нас за безумцев! Но нашёлся не сам: к нему нас отправил наш старый друг – филатовский доктор, который когда-то (семь лет назад) вылечил Антону палец, и с тех пор мы с доктором Колей – друзья. И доктор Коля отправил нас к другому хорошему доктору. (Вот как в жизни всё связано и всё неспроста! Выходит, спасибо Антошиному наколотому на проволоку пальцу, который привёл нас когда-то в травмапункт Филатовской больницы? Выходит, что так!) И этот новый в нашей жизни доктор сказал (точнее – сказала, так как это была милая, очень спокойная, обнадёживающе-спокойная женщина): “У вас всё замечательно. Можете не волноваться. И забудьте о своём возрасте! И не вспоминайте о том, что было с вами четыре года назад…”

Вот тогда, вернувшись домой, я и открыла Антону нашу тайну.

И, наверное, волнения этого дня передались Иксику… И когда под вечер, утомлённая прекрасными переживаниями этого дня, я прилегла…

Нет, это нельзя ни с чем спутать! невозможно придумать!

Словно крошечный котёнок (то есть – ребёнок!) нежно и утомлённо потянулся во мне… И, не успев прийти в себя от этой радостной неожиданности, я услышала… Услышала отчётливо и ясно. Твоё первое: “Тук!”

“Ещё, ещё, пожалуйста! Чтобы я могла поверить!” – взмолилась я. И – через сладостное мгновение ожидания – я услышала ещё дважды: “Тук-тук!”

…А поздно вечером Иксик, не скупясь, порадовал и тебя, продемонстрировав, на что он уже способен!

“Здравствуй, малыш! – сказал ты ему в ответ. – Я твой папа”.

* * *

Ну, тут жизнь началась уже очень веселая!

Хотя веселье это первое время ощущала только я. Под твоей рукой Иксик замирал. Он весь пока – точно птенец – умещался под твоей ладонью…

К моей руке он уже привык и прыгал под ней. Но к твоей, которая приходила к нему только поздно вечером, он привыкал долго. Он замирал, прислушиваясь к твоим биотокам, он изучал…

А иногда нам казалось: он просто играет с тобой в прятки! Просто дразнится! Шалит, как всякое малое дитя…

* * *

Шли дни за днями… Недели за неделями. Каждый четверг мы праздновали день рождения нашего Иксика.

И завтра будем праздновать. 37 недель! С ума сойти, до каких великих времён мы дожили! Даже не верится…

Сначала казалось: дожить бы до 10 недель – и можно будет

надеяться. Потом: дожить бы до 17 недель – и можно уже не так тревожиться. Потом: дожить бы до 20 недель… О, эти заветные 20 недель казались ещё совсем недавно недосягаемой мечтой!… 20 недель – половина пути, шутка ли! И останется ещё столько же: всего лишь 20, а не 40!

…А потом, в августе, когда пошла (наконец-то! неужто?) вторая половина пути, я стала безумно бояться сентября.

25 сентября… Эта роковая дата маячила впереди молчаливой угрозой. Угрозой преждевременной разлуки. Угрозой того, что случилось четыре года назад… Нет, нет! только не вспоминать! “Милый, но ведь это – *другая* история, правда?…” – “Правда, любимая. Да ведь ты и сама это чувствуешь!”

И всё же… Как же я боялась конца сентября! Хотелось уснуть – и проснуться в жёлтом, шелестящем октябре… А ещё лучше – в ноябре…

Пусть дожди, пусть ненастье, пусть будет всё голо и черно вокруг!… Я ждала ноябрьского ненастья – как несбыточного счастья… В ноябре можно будет уже не бояться. А только ждать. Тихо и блаженно ждать… Даже если Иксик надумает явиться на свет раньше срока, – в ноябре уже будет не страшно. Явившись в ноябре – он останется с нами.

“Держись, дружочек! Держись, ненаглядный!”

* * *

Сказать, Иксик, что мы с тобой эти девять лунных месяцев лежали и блаженствовали, – так нет. Да, мы блаженствовали, но… – за работой! Оказывается, дружочек, с тобой очень здорово работается! Ты словно бы подстёгивал меня, ты не отнимал – а вселял силы, ты словно бы нашептывал мне изнутри: “Торопись, торопись! Тебе надо многое успеть до моего прихода!”

И я успела. Я написала большую повесть. В другие времена я писала бы её, наверное, несколько лет. А с тобой, да с Божьей помощью, да с помощью моих любимых – Антоши и Гавра (твоего брата и твоего папы, малыш) – я написала её в считанные месяцы! Своё “Побережье памяти”. Когда-нибудь ты прочтёшь его… Под этой повестью – дата: месяцы ожидания твоего прихода. Месяцы приготовления души – к Встрече с Тобой.

И слава Богу, что мне работалось! Работала отвлекала от тревожных мыслей, работа не впускала в жизнь дурные

предчувствия и страхи. Работа убыстряла время. И оно неслось стремительно: день за днем, глава за главой, страница за страницей…

* * *

Как вы думаете, мои хорошие (это я обращаюсь сразу ко всем вам – троим), как вы думаете: каково ощущать себя цирком-шапито?… Да, да, цирком-шапито! В котором разыгрывается еженощное представление…

Почему-то Иксик особенно резв после полуночи. “Интересно, в кого же это он?…” – смеются Гавр и Антон. Это они намекают на меня, малыш. На твою маму-полуночницу. На твою маму-сову. Которая бродит по ночам по дому без сна…

Вот и ты у меня такой же. (Или – такая же?…) Моё бессонное полуночное дитя. И куда ты лезешь под самый купол? И раскачиваешься, и падаешь вниз, и опять неутомимо карабкаешься вверх, цепляясь за пуповину – как циркач за верёвочную лестницу, за канат, за трапецию… Мой маленький акробат. Мой бесстрашный!

* * *

А каково себя ощущать океаном, в котором плещется стая дельфинов?… Вот именно: целая стая! Потому что один дельфин не мог бы плескаться сразу во всех краях этого необъятного (и с каждым днём всё необъятнее!) океана… Один дельфин не мог бы водить хороводы, ходить такими широкими кругами, вздымая такие крутые волны!…

Прощаясь перед сном, ты прикладываешь ухо к моему животу и восторженно шепчешь: “Шумит… океан…”

* * *

А каково ощущать себя галактикой, в которой блуждают

планеты, и ежеминутно взрываются всё новые и новые звёзды?…

Взрываются горячо и разбегаются с такой сокрушительной энергией…

“Милая, ты у меня – как расширяющаяся галактика…” – говорит ошалелый от счастья муж.

“Мама, а тебе не больно?” – спрашивает сын, робко и нежно приложив руку к моему животу. “Чувствительно, – говорю я. – Ещё как чувствительно!”

* * *

– Может, он там не один? – спрашиваем мы друг друга, радостно прислушиваясь к той бурной жизни, которая кипит во мне…

* * *

…А потом было 31 августа. И мы приехали… на свидание к своему Иксику. Сегодня его должны были смотреть ультразвуком. Срок – приличный. В таком возрасте уже видно: он – или она. Один – или?… Значит, через несколько минут тайна перестанет быть тайной.

Тебе разрешили присутствовать. Хотя и удивились: “Мужья обычно не интересуются. Вы – первый”.

…И вот мы выходим на связь. Как будто с космосом…

На экране монитора мы видим сияющие, пульсирующие планеты и планетки… И словно бы сквозь космический гул (это кровь от волнения прилила к голове и гудит…) мы слышим голос нашего проводника: “Головка… пяточки… ” Какие волшебные, сладостные имена у этих планет! “А вот – пуповина…” – говорит доктор. И мы, заворожённые разворачивающимся перед нашими глазами зрелищем, видим сияющий, как млечная тропинка, канатик… “А это – сердечко… камеры… клапан…” Всё сияет и пульсирует… Пульсирует и сияет… Так вот что я ношу в себе!

“А кто – он или она?…”

“Не видно, – говорит наш проводник. – Ножки так поджал, что не видно. Скрывается…”

Тайна осталась тайной. Но мы ничуть не огорчены! Мы даже рады. Молодец, Иксик! Тайна и должна до поры до времени оставаться тайной…

…И через месяц, на втором свидании, блуждая завороженным взглядом по бездонному космосу (и как только крошечный монитор вмещает в себя эту бездонность?…), и в этот раз мы не узнаем ответа на вопрос: он – или она? Иксик – или Иксюша?…

В этот раз космический жилец повернулся к нам лицом и… мы ощутили на себе ЕГО взгляд.

А тайна так и осталась тайной…

* * *

…И вот уже метёт метель… Долгожданный декабрь! Могли ли мы надеяться?

Ах, да! а про Голубя забыла. Про Белого Голубя.

Он прилетел к нам на лоджию в конце ноября, субботним утром. Птица невиданной красоты. Мы и не подумали даже, что это – Голубь. Своей белоснежностью он был похож на чайку, своей грацией, своей длинной и гибкой шеей – на лебедя…

“И всё-таки это голубь! – сказал ты. – Голубь. Благая весть!…”

С того дня Белый Голубь прилетает к нам каждый день. Мы сыплем ему на завтрак и на обед золотистое пшено, и он с чувством глубочайшего достоинства склёвывает его. За это его достоинство и величавость, за этот умный взгляд, внимательно косящийся в наше окно, мы прозвали нашего голубя Профессором.

Если оставить окно открытым, – Профессор спокойно и безбоязненно зайдёт в гости…

* * *

– Всё будет хорошо! – говоришь ты. – Вот увидишь. Смотри, вот и Голубь опять прилетел… Неспроста ведь?

– Конечно, любимый.

* * *

Всё ближе, всё ближе…

– Неужели так скоро уже?… Неужто так близко Встреча?… Неужели такой долгий путь уже пройден? Уже позади…

– Даже жаль. Что так быстро… И уже никогда не повторится это блаженное время.

– Как знать?…

* * *

Мы прислушиваемся к галактическому океану, который я ношу в себе девять лунных месяцев…

Метёт метель…

Декабрь.

Скоро!

1-6 декабря 89, Речвок

ПОСТ-СКРИПТУМ

Эти странички я написала в *эти* дни – когда ощущения и переживания ещё не успели стать воспоминаниями. В эти дни – ПОКА МЫ С ТОБОЙ – ОДНО…

Надеюсь, когда-нибудь я вернусь к ним: к этим страничкам, к этим дням. Ведь я столько упустила, о стольком ещё не рассказала!…

Я вернусь к ним тогда – когда исполнится загаданное на ВИШНЁВОЙ КОСТОЧКЕ…

А пока… – Гавр пошёл ловить такси…

7 декабря 1989 года"

Ах, как сладко мечтается под шорох метели! “Настанет время, и наш Иксик прочтёт ”Вишнёвую косточку"…

* * *

А потом я открываю журнал – и погружаюсь в совершенно другое, уже далёкое, но такое дорогое моему сердцу время…

Странное и удивительное переживание: будучи здесь – в ожидании Иксика – читать собственную повесть об Антошином детстве. Заново переживать ТО, которое многократно усилено, обострено ЭТИМ. Только я на четырнадцать лет… старше? – или моложе той, что в повести?

На меня здешняя публика смотрит с уважением к моим летам. (“Надо же, решиться в таком возрасте!”) А мне смешно. Мне кажется, они все старее меня.

Приятно, что почти нет опечаток. Иллюстрация, конечно, кошмарная. Ну, да ладно! Не буду переживать хотя бы из-за этого.

“Гавр! Скоро тебя увижу… Хотя стремительно темнеет, и я, наверное, увижу только твой силуэт… Но ведь увижу! Тебя. Любимого.

Жаль, что ты не послушал меня и не устроил себе сегодня маленький отпуск. На улице такой холод! (О, как мне хотелось бы прогуляться с тобой по этому блаженному морозу!…)

Привет тебе от нашего чудесного Иксика. От нашего загадочного… Он скачет! Он весел и бодр. С ним всё в порядке. Он радостно плещется в своём океане, бегает свои дистанции,

работает под куполом…"

“Меня возненавидела главная над нашей палатой докторица.

Чем больше ты обо мне тревожишься, чем настойчивее добиваешься, чтобы меня не оставили в последний момент на произвол судьбы, тем с большей лютостью она смотрит на меня на очередном обходе. О, как она ненавидит меня!…

За что? – недоумевала я в первые дни. А потом поняла: за то же, за что ненавидит меня, и тебя, и даже Антона лопоухий мужик из нашего дома и тётки с лавочки у подъезда. – За то, что мы любим друг друга.

Она, молодая и весьма эффектная собой докторица, кандидатша, смотрит на меня такими же, *теми* же глазами, что и тётки у подъезда. Когда ты уходишь на работу, и я машу тебе с балкона, когда Антончик убегает в лес, и я кричу ему вслед: “Антончик, пока!” – тёток и лопоухого, гуляющего со своей визгливой собачонкой, передёргивает. Так же передёргивает и красивую докторицу."

– Восемьдесят шестая, ваш муж требует, чтобы вам сделали кесарево. Он, видите-ли, боится за вас! – её голос сочится ядом.

– Да, мой муж боится за меня.

Круто развернувшись, она уходит. В дверях бросает через плечо:

– Будешь рожать сама!

По долгу службы она должна сделать так, чтобы всё у меня было нормально. Но чисто по-женски, в сердце своём, она не желает мне добра. Я это чувствую: она не желает мне добра.

Когда она приближается ко мне, я инстинктивно прикрываю рукой живот – чтобы защитить от ядовитых стрел того, кто внутри…

“Они говорят: для кесарева нужны основания (как будто мой возраст и моё сердце – не основание!) Говорят: принесите справку о том, что во время первых родов вы были в клинической смерти, и ребёнок тоже. (Как будто *там* эту справку дадут! Да они ни за что не сознаются в том, что *это* было, что они нас до такого довели!) И про то, что случилось в восемьдесят пятом году, они тоже требуют справку. Как будто мы с тобой это всё выдумали!

Мне страшно здесь. Господи, чем же это всё кончится?…

А ВДРУГ?…

Если случится это “А ВДРУГ”… – что будет с Антошей? Ведь я обещала ему вернуться…

Ужасно переживаю из-за того, что тебе так и не удалось его

усыновить.

(О, эта кретинистическая бюрократическая машина!) А ведь только на тебя, на одного тебя в целом мире, я могла бы оставить моего мальчика…

(Только, милый, не показывай ему это письмо)".

“Сынуля, ку-ку! Как поживаешь? Я живу хорошо. Сэр Сквозняк утратил ко мне интерес и теперь гоняется за другими. Напиши мне письмецо! Предыдущее я уже зачитала до дыр.

Если бы я могла рисовать, я бы тебе нарисовала целый комикс, как по ночам по нашей палате бегает мышь и со страшным зубовым скрежетом грызет всё подряд: даже железные ножки кроватей и холодильник! Наверное, у неё, бедняжки, в организме не хватает железа. А вообще, она симпатичная, только уж очень эгоцентричная.

Когда я звоню, я вовсе не грустная, а просто сонная.

Целую тебя, мой хороший, и шлю тебе своё ежеутреннее и ежевечернее: “Христос с тобой!”

“Милый Гавр, настроение у меня на данном этапе совсем скверное. Хуже, может, и бывает, но редко. Вчера даже плакала. Хотя нам с Иксиком это совсем неполезно. Хочется плюнуть на это хвалёное заведение и уйти домой. Прямо ночью, пешком, без пальто… Господи, неужели повторится восемьдесят пятый год?…”

Восемьдесят пятый год. Колёсики каталки отвратительно поскрипывали по кафельному полу. Надо мной проплывал тусклый потолок. Была ночь. В тёмной, огромной, как барак, палате все спали. “Давай переваливайся!” Ухватившись за край каталки, с трудом перекинула себя на кровать. Звякнули пружины. Кровать оказалась старым гамаком. “Вот тебе лёд на живот. И не реви, не реви!” – “Сестричка, кто у меня?” – “Девочка… Ну, чего ревёшь-то? Родишь ещё себе доношенную”. – “Но ведь она же плакала! Она *живая*!” – “Такие долго не живут. Спи давай”.

Она умерла под утро. Наша девочка. Умерла, не успев нам ни разу улыбнуться…

Она ушла, а её плач продолжал жалобно звенеть у меня в ушах. И я слышала его четыре года, особенно отчётливо по ночам…

* * *

И вот настало утро, когда я поняла: НАЧАЛОСЬ… И опять гремели колёсики каталки, на которой я неслась в звенящую неизвестность… И – неожиданно – твой голос за дверью. И я прокричала тебе: “Гавр, НАЧАЛОСЬ!” Дверь на мгновение распахнулась. – Я увидела тебя! Твои глаза. Ты прокричал мне в ответ: “Я не уйду отсюда! Я буду до конца!”

Потом – холодная и сумрачная палата, о которой иначе как “камера” не скажешь. Бурые масляные стены. Замазанное до половины окно. За окном – в белом инее – старые деревья…

Влажная серая роба. Б-р-р! – холодно. Голова, как у арестантки, повязана застиранной косынкой. На ногах заскорузлые тапочки. В голую ступню впивается гвоздь. Прихрамывая, хожу из угла в угол, по диагонали этого сумрачного пространства – мне велено ходить.

Хорошо, что ты не видишь меня. Мы так хотели быть вместе, но сейчас я рада, что тебе этого не позволили. Предстать перед тобой в таком виде?! В этой робе, в этих тапочках?!…

Но крестик и обручальное кольцо – на мне. Крестик они просмотрели, а за колечко я сражалась на каждом обходе. “Почему на вас кольцо, восемьдесят шестая?” – “А оно не снимается”. – “Надо снять. Не положено”. – “Вы же видите: не снимается”. – “Не положено”. – “Можете отрубить с пальцем”.

На этом дискуссия заканчивалась, чтобы назавтра возобновиться снова…

– Ходи, ходи! Ты чего у окна торчишь? Ходи! Представь, что у тебя в руках тяжёлые сумки.

Это-то? Это представить легче всего… Но лучше бы она сказала: “Представь небо. Представь, что над тобой не тусклый потолок – а Небо”. Этого здесь не скажет никто. Об этом я должна помнить сама. С твоей помощью, милый.

В дверях возникает маленькая седенькая нянечка. Она протягивает мне записку. “Муж твой, дочка, велел тебе передать: он молится за тебя”.

Записка – о том же… Сжимаю её в руке. Хожу, хожу по сумрачной диагонали. Где-то за стеной ходишь ты… Мы ещё не знаем, сколько часов нам выхаживать – вот так: рука об руку – хоть и разделены несколькими десятками метров, стенами и дверьми.

Ещё утро. Впереди – короткий декабрьский день и долгий, глубокий, как колодец, вечер… Казалось: это не может повториться в моей жизни, но – повторяется! повторяется… Опять этот чёрный туннель, озаряемый вспышками нестерпимой боли, по которому меня тащит сила, которая сильнее меня, сильнее

моей слабости и моего страха. И – дальше – вплавь по раскалённой лаве… вспять… туда – к полыхающему жаром жерлу…

В руке – твоя записка, она держит на плаву и не даёт захлебнуться… Ты здесь, ты со мной, ты молишься за меня.

И Антоша, дома, тоже… и мама…

* * *

Сказать, что мы с Иксиком прошли по проволоке – это ничего не сказать. Мы прошли по ниточке. По тонкой-тонкой ниточке… Только вашими молитвами, родные.

– Девочка!… Не зря мучилась, – услышала сквозь взрывы галактик весёлый голос акушерки.

ВЕРНУЛАСЬ!… НАША ДЕВОЧКА ВЕРНУЛАСЬ К НАМ!

И, одновременно, вторым планом, недоумённое: “А если бы мальчик, то – зря?”

И МЫ ОБЕ – ЖИВЫ?

В это ещё надо поверить…

Вот она – красненькая и сморщенная, с длинным, марсианским разрезом глаз… Ой, какая страшненькая! И – в тот же миг: ГОСПОДИ, КАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ!…

* * *

Потом ещё было много муки. Но ПОСЛЕ ВСЕГО – эта мука была здешняя, земная, и её можно было пережить. Тем более слыша в свой адрес такие комплименты: “Ты у нас рожала, как ангел”.

Потом я лежала на узкой высокой каталке, в белом, сверкающем кафелем, кубе и слушала незатихающий галактический гул… Галактический гул – в каждом своём атоме…

Текли прохладные восхитительные минуты, и гул становился тише, глуше… А на смену ему вступало БЛАЖЕНСТВО.

И тут мне принесли ЕЁ! Чудесно-маленькую, завёрнутую в серую грубую дерюжку. Она выглядывала из своей первой одёжки

– как бабочка из кокона. Её положили рядом со мной на каталку. И она прильнула ко мне, и зачмокала крошечным, как розовый бутон, ртом…

И это было уже выше блаженства.

ЭТО
БЫЛО
НЕБО.

Потом нас поднимали на третий этаж. Меня на каталке, а моя девочка совершала первое в своей жизни путешествие на сгибе руки чужой тёти в белом халате. Дочке моей, так же, как и мне, это показалось противоестественным, и она заплакала. Заплакала так горько! и крупные слёзы покатились из её марсианских глаз… Медсестра удивилась: “Надо же! Плачет слезами… Такие маленькие слезами не плачут”.

Это была наша первая разлука.

Ночь. Палата залита лунным светом… Палата на одну койку, втиснуто

– четыре. Пока нас здесь трое. Лежу между двух Наташ. Слева Наташа говорливая, справа – молчаливая. У всех троих – девочки. Наши дочки появились на свет только что, друг за дружкой.

Уснуть не можем. Хрустим во тьме яблоками.

“Интересно, чем там занимаются наши девчонки?…”

Наташа-говорливая без умолку говорит. Наташа-молчаливая грустно молчит: её девочка поспешила прийти в этот мир на целых два месяца. Но ведь мы не в заштатном роддоме, в который меня угораздило попасть в восемьдесят пятом году: там о спасении таких деток особо не пеклись, там просто ждали, когда они умрут… А в выписке писали: родился мёртвым. “Как *мёртвым*?! Ведь она кричала, она плакала!…” – “Раз умер в течении первых суток, считается мертворождённым”. Вот и весь ответ. И никто не виноват в этой смерти? И никто не виноват за несостоявшуюся жизнь?…

Но у Неба разве мертворождённой считалась моя девочка? Разве не была её крошечная, коротенькая, как у бабочки-однодневки, жизнь – ЖИЗНЬЮ? Разве она была СМЕРТЬЮ?… Да, она жила считанные часы, но что мы знаем о времени? Может, эти считанные часы, наполненные страданием и напрасной надежды, что придут, помогут… может, эти часы были для неё целой вечностью? Долгой, трудной жизнью, которую она прожила в одиночестве…

ГОСПОДИ, НЕУЖЕЛИ МОЯ ДЕВОЧКА ВЕРНУЛАСЬ???

Наташа-говорливая недоумевает: “А откуда ты знаешь, что это она же?” – “Чувствую. Я её все эти годы звала – и она вернулась…” – “А если бы родился мальчик?” – “Но ведь родилась ОНА!” – “Действительно… Прямо чудо какое-то!”

Луна плещется в темноте… “Как там наши девчонки?…” – “Ужасно это, что сразу разлучают. Небось, плачут…” – “Я слышала, в Москве уже есть роддома, где детки спят рядом с мамамы, в одной палате. Как во всём цивилизованном мире”. – “Счастливые!” – “Но зато здесь хорошие врачи. Всё-таки научно-исследовательский институт!” – “А мы для них – подопытные кролики?” – “Подопытные мамы. Они на нас пишут свои диссертации”. – “Тогда им должно быть выгодно, чтобы их опыты прошли удачно”. – “Конечно!”

– Моя – в реанимации, – говорит Наташа-молчаливая.

Наташе-молчаливой повезло: мы не в заштатном роддоме, а в знаменитом на всю страну, куда рвутся, куда мечтают попасть. Один здешний доктор с гордостью сказал: “Мы спасаем всех женщин и всех детей!”

На следующее утро.

Разбудили в полпятого. Всякие процедуры. Еле ползаем. Едва шевелим ногами. “Неужели когда-нибудь опять нормальными людьми будем? Не верится…”

В десять утра мне принесли твою записку, полную ликования. Ты видел её!

Ещё вчера. В самые первые её минуты. Взобравшись на сугроб, ты стоял у окна той комнаты, куда приносят младенцев из родильного зала, и видел первое омовение нашей дочки…

Ты в восторге. От её причёски, от её телосложения, от её звонкого и требовательного голоса…

Взволнованное и нежное письмецо от Антоши. Полная заботы и вопросов записка от мамы. Ну, и напереживались вы вчера за меня!…

И вот – несут на кормление моего Иксика! Нашу И-КСЮШУ.

Уже не в серой дерюжке, как вчера, – а в белом нарядном конверте! Мою красавицу. Мою долго-долгожданную…

“Ксюша, Ксения, Аксинья…” – только тебе, шёпотом.

А хочется – на всю вселенную: КСЮША, КСЕНИЯ, АКСИНЬЯ!

Здравствуй, доченька. Вот мы и опять вместе.

Ты взглянула на меня своими марсианскими глазками – цвета ночного декабрьского неба… И волна света пробежала по

твоему лицу – ещё такому новому для меня и уже такому родному. Нет, наверно, это не могло быть улыбкой в нашем, земном, мирском понимании. Но именно так – *волна света*… Ты пока существо таинственное, космическое.

О тебе здешними словами не скажешь…

И это так удивительно, что из своего космоса ты тянешься ко мне розовым бутоном крошечного рта… Я кормлю КОСМОС.

“Ну, как твоя? Сосёт?” – “Сосёт…” – “А у нас чего-то не получается, – волнуется Наташа говорливая. – Настя, Настёна, не ленись!”

Отвернувшись к стене и закрыв голову одеялом, плачет Наташа молчаливая…

Но вскоре пришёл детский врач из реанимации и сказал: “Совершенно напрасно вы так переживаете. С вашим ребёнком ничего катастрофического. Всё идёт, как надо”. Господи, как мы были счастливы! Все трое. Теперь и Наташа молчаливая заговорила. У её девочки зелёные, невероятно зелёные глаза! Как у мужа. А имени ещё нет. Потому что ждали мальчика…

А дальше – череда суматошных счастливых часов (хотя всё ещё болит, болит! – ни сидеть, ни стоять) – с бесконечным чаепитием и внутренней мольбой: “Только бы пришло молоко!” На смену этим первым каплям пришло бы молоко! Чтобы кормить, вскармливать, питать долго-долго – не месяц и не два, а целый год… всё дочкино младенчество – переливать себя в неё… Чтобы не рвалась пуповина. Чтобы не разлучаться. Чтобы чувствовала моя пришелица – в каждой капле – моё ЛЮБЛЮ…

А потом в палату вошла Наташа молчаливая. “Я только что говорила с мужем по телефону. Вчера вечером умер Сахаров”.

О ГОСПОДИ!…

И уже опять несут кормить Ксюшу, а я почти не вижу её из-за слёз… О Господи, вчера! вчера, в тот самый час, когда ты пришла в этот мир, мы осиротели… Мир осиротел. Вчера.

А ещё сегодня утром мы были так счастливы!… Андрей Дмитриевич, Андрей Дмитриевич… Целый месяц я писала Вам письмо, но так и не отправила его. Я писала от имени своего поколения. От поколения прозревших. Прозревших, благодаря Вашему тихому пророческому голосу… Есть, есть! (*был*?…) пророк в нашем горьком отечестве.

Но письмо своё я не отправила.

Постеснялась. Оробела.

А теперь вот…

“Мамочка, что же это ты ребёнка слезами кормишь? Он ведь от такой кормёжки кричать-разрываться будет!” – делает мне выговор патронажная сестра.

Звоню тебе. “Ты мне не написал, но я знаю”. – “Не хотел тебя волновать”… Молчим. Горе, нежданное, перехлёстывает нашу долгожданную радость… “Давай держаться, родная, – говоришь ты. – Ради Ксюнечки. Как там она?” – “Сосёт. Очень трудолюбивая, пыхтит, старается. Улыбнулась мне…” – “Неужто улыбнулась?!” – “Осветила…”

И опять несут наших птенцов на кормление. Едва успеваем перевести дыхание. И опять… И Наташа молчаливая отворачивается к стене… А потом мы пьём, как очумелые, чай… Чтобы пришло молоко! Сейчас это самое главное – для нас и наших дочек. Два пузатых обшарпанных чайника с кипятком стоят в коридоре. С пяти утра и до часу ночи – чай, чай, чай… “Так и в водяных недолго превратиться!” – подшучивают над собой мамочки.

В полночь – ты опять рядышком. Старательно чмокаешь, девочка моя ненаглядная!…

“Ты спрашиваешь, какого цвета Ксюшины глазки? В первые минуты они были бездонными и тёмными, как декабрьский космос… И на следующий день они были такими же. И очень тревожными. И сама она всё время вздрагивала, вздыхала – из своих таинственных глубин…

Всё-таки мы очень намучились с ней. *Такое* быстро не забывается. Но как здорово, что обошлись без кесарева!

Сейчас Ксюша уже спокойнее. А в её глазках начинает просматриваться СИНЕВА! Глубокая-глубокая синева…"

А с раннего утра (хотя какое утро в пять часов в декабре? – ночь кромешная, глухая, знобкая, подсвеченная синим кварцем…) – опять чай, вокзальный кипяточек с засохшей вчерашней передачкой. Молочко, молочко, с чего тебе прийти? В знаменитом роддоме, как и в заштатном, потчевать мамочек нечем. Мокрая, ржавого цвета, капуста, именуемая на местном диалекте солянкой, да холодный склизкий рис. На обед в капусту или в рис подливается водица – получается шикарный супчик.

Но какие запахи царят в отделении!…

Напротив нашей палаты – кухня: там медперсонал потчует себя. Струятся из-за плохо притворённой двери одуряющие запахи. Там… жарится мясо! Оно аппетитно шкворчит на двух

гигантских сковородах, и эти пьянящие звуки и аромат города Сочи носятся по коридору, нахально вторгаются в палаты, доводя полуголодных мамочек до головокружения. “Ничего, скоро дома будем”, – подбадривают мамочки друг друга.

“Никак голодовку объявили?” – лениво возмущается красноносая нянька, собирая с наших тумбочек тарелки. “Гляди, даже не притронулся никто!” – “Так ведь нам нельзя капусты. Детишек пучить будет”.

“Што ето обратно не ели?” – “Так ведь нам нельзя рису. У детишек запор будет”. Она равнодушно мотает пьяной головой.

После её ухода в палате тяжёлый дух перегара. Распахиваем фрамугу – скорее, скорее проветрить, сейчас кормление.

Сейчас тебя увижу, Ксюша, Ксения, Аксинья!…

“А губы у Ксюни – бантиком!

А ещё, мне кажется, она уже откликается на своё имя. Откликается мимикой, движением крошечных ресниц…

А как она сосет, с каким старанием добывает драгоценные капельки! Наша трудолюбивая, неутомимая девочка, наш маленький ангел. Наша загадка. Наша – разгадка…"

Принесли письмо от Анюты. Записку от Саши. Они рады появлению Ксюши. Слава Богу! А я так волновалась все эти месяцы (да-да, ещё и по этому поводу!), думала: вдруг будут ревновать?…

Вечером детишек разносит нянька, которая днём мыла в коридоре полы. Она в том же замызганном халате. “Ничего себе!” – у мамочек перехватывает дыхание от ужаса и возмущения. “Вы хотя бы халат сменили!” Она смотрит непонимающе. Боже мой, да ведь она тоже пьяная! После кормления – вручаю своё сокровище в её пьяные руки. “Не уроните, о Господи!…”

“Ксюша, Ксения, Аксинья, до завтра, солнышко!”

Через два дня мордашки у наших дочек покраснели и покрылись сыпью. “Что с нашими детьми?” – волнуются, переживают мамочки. “А кто ж его знает? Бывает… Небось, сами поели чего-нибудь, вот они и запрыщавели”. – Да не ели мы ничего! – Ну, у врача тогда спрашивайте. – А когда же будет этот врач? Мы его уже три дня ждем. – Должен быть, как же.

“Бред какой-то!”

А надо всем – высоко-высоко и нежно:
КСЮША, КСЕНИЯ, АКСИНЬЯ!…

“Я уже изучила её многие, – такие милые, такие трогательные гримаски… Когда её приносят спящей и разбудить, чтобы покормить, невозможно (наверное, я бужу слишком робко), – мы просто лежим рядышком, вдыхая друг друга… И я любуюсь ею. Изучаю каждую чёрточку, каждое движение в её личике, а оно меняется день ото дня, час от часу…

Какой у неё нежный разрез глаз! А как она чудесно оттопыривает нижнюю губку, когда категорически отказывается есть, желая спать.

Но когда Ксюню приносят бодрствующей!… О, это целая симфония!… Как она смотрит на меня, с каким вниманием! Как она изучает всё вокруг! Можно подумать: ей – месяц. А ведь нам всего лишь три дня! Милый, тебе верится?

Мне кажется: Ксюша с нами уже целую жизнь. Хотя почему “кажется”? Так оно и есть…"

Вместе с запахами жареного мяса и пьяными няньками по коридору гуляет ветер. Самый натуральный декабрьский ветер… Разогретым нянькам он нипочем. Но мамочкам, мамочкам, которые облачены лишь в хэбэшную рубашку да ветхий фланелевый халатик, – очень даже ощутимо: зима!

Справа высоченные и тяжеленные двери распахнуты на лестницу – оттуда несёт декабрем. Слева – такие же двери распахнуты, и тоже на лестницу, и оттуда несёт тем же декабрем… По этому декабрю носят детишек на кормления.

“Мамочки, душ принимать!” – зычно возглашает сестра-хозяйка, громыхающая тележкой с чистым бельём. Бродим по коридору в поисках душа. “Чего ходите? Вот он – душ!” – она показывает на умывальник. Единственный умывальник на всё отделение – прямо у распахнутой двери. “Разоблачайтесь!” Разоблачаемся. Стоим зябнущей шеренгой к “душу”…

И среди всей этой суматошной, и сюрной, и всё равно, несмотря ни на что, головокружительно счастливой жизни (“Ксюша, Ксения, Аксинья!…”) – неотступно: “Андрей Дмитриевич, Андрей Дмитриевич!…”

Потайная река скорби…

Господи, почему так совпало?

А в ночь перед похоронами рухнула зима. Крепкая и скрипучая, она рухнула, подточенная этой скорбной рекой.

Громыхала, тяжело постанывая, гроза, и лил дождь…

С покатых старомосковских крыш с шумом водопада съезжали толстые пласты снега и с грохотом падали вниз, в

маленькие тёмные дворы. Молнии оранжево всполыхивали во мраке, скудно, поминально освещая этот развал, разлом… дождь хлестал неудержимо, скрипели за окном – чёрные на чёрном – деревья…

Эта ночь оплакивала Андрея Дмитриевича.

На следующее утро кормили своих детишек под траурные мелодии, которые лились – продолжением ночного ливня – из маленького репродуктора на сестринском столе…

А потом заглянул в палату доктор из реанимации и позвал куда-то Наташу-молчаливую. Вскоре она вернулась, легла на кровать и закрыла глаза. “Наташа, что случилось?” – Она не отвечала.

По коридору шёл наш палатный врач. Я догнала его. “Сергей Палыч, что с ребёнком Васильевой?” – “Умер”, – сказал он. – “Как умер?!” – “Ну, как…” – он пожал плечами. Меня обдало холодом и ужасом восемьдесят пятого года… Стояла в коридоре и не знала, как войти в палату, и что сказать Наташе…

Вошла. Она стояла, застыв, у окна и смотрела в никуда огромными серыми глазами.

– Наташа, родная!

Мы обнялись и заплакали.

“Не раскрылись лёгкие, – сквозь рыдания говорила она. – Ждали, что раскроются… На третий день подключили аппарат, – оказалось, поздно…” – “Почему же они раньше его не подключили?!” – “Думали, сама справится… Говорили ведь: у вас крепенький ребёнок…” – “Наташа, милая, она вернётся! Ты слышишь? Твоя девочка вернётся к тебе!” – “Когда? когда?… ведь мне уже тридцать…”

* * *

А вечером на кухне была большая пьянка. Нет, не поминки по Андрею Дмитриевичу и не поминки по Наташиному ребёнку, – а неудержимое веселье по местному поводу: отмечалась помолвка одной из медсестёр. То ли всерьёз, то ли это был обычный дежурный повод.

“Миленький, забирай нас отсюда!” – “Как – забирай? Тебе же швы ещё не сняли!” – “Здесь вспыхнула какая-то инфекция, то ли грипп, то ли стафилококк… Одним словом, завтра нас всех

отсюда выгоняют. Швы снимут завтра же”.

Я говорила с тобой по телефону с поста медсестры. Здесь было пусто: все веселились на кухне. Одна из медсестёр пыталась войти в нашу палату: она держалась за ручку двери, а её мотало из стороны в сторону, и она никак не могла дёрнуть двери на себя…

А потом, ближе к ночи, отключили горячую воду. Где-то прорвало, авария. Похолодели батареи. В палате вскоре стало по-зимнему, а в окно напирал ветер и распахивал фрамугу… В коридоре и вовсе люто.

“А как же детишки?” – волнуются мамочки.

“В детской тепло”, – утешала патронажная сестра, но сама была в толстой кофте под халатом.

“Господи, хотя бы не попростужались! Скорее пережить эту ночь и домой…”

А на кухне всю ночь гудела пьянка…

Последнее утро. “Что это вы всё пишете и пишете?” – спрашивает меня Наташа-говорливая. “Письмо мужу”. – “Письмо? Мужу?! – она будто не верит своим ушам. – Так вы же через несколько часов будете дома!” – “Но это будет уже другая жизнь. А я хочу ему написать ещё из этой…”

“В ту, первую ночь, когда узнала об Андрее Дмитриевиче, не могла уснуть. Мела метель… Думала об А.Д., молилась за него, молилась за нашу девочку… И было так больно и грустно: ну, почему, почему, Господи, так совпало?…

А теперь думаю: может, всё неспроста? Одна душа пришла на смену другой, которая довольно потрудилась, настрадалась на Земле и заслужила Неба… Может, это – счастье: то, что день Прощания стал и днём Встречи? Может, во всём этом огромный смысл: то, что в этот, именно в этот день мы подарили миру нашего ребёнка? Чтобы не образовалось пустоты…"

ИКСИК

Глава вторая

ДОРОГА ДОМОЙ

Я – на переднем сиденьи такси, с охапкой цветов – зимние розы и гвоздики…

Вы – втроём – на заднем: ты держишь Ксюшу, завёрнутую в оранжевое одеяло, лицо твоё совершенно сумасшедшее от счастья. “Мне всё ещё не верится, – говоришь ты. – Что самое страшное позади…”

Ксюша, наш таинственный Иксик, тихо спит внутри оранжевого бутона…

Антон, мальчик мой задумчивый, то долго смотрит в окно… то коротко и смущённо взглядывает на сестру, такую ещё незнакомую, и, хотя и долго мы её ждали, но всё равно неожиданную; то быстро и нежно взглядывает на меня.

Повернувшись к вам, крепко держу его за руку. “Ты рад?” – “Рад”, – отвечает он и опять – в окно…

Мы несёмся по бурным рекам, которыми стали после грозы и ливня городские улицы. Пахнет весной!…

Розами, гвоздиками, грозой и весенней распутицей встретила Ксению её Первая Зима. Такси влетает, вплывает на Сретенский бульвар. Наш бульвар!

– Крыша! – вскрикиваем мы почти одновременно и приникаем к туманным окнам… Здравствуй, Крыша! Это опять мы. А это – Наша Девочка!

Флюгерами, мансардами, башенками, голубями Наша Крыша приветствует нас! Она благословляет нас. Наша Крыша, которая обручила нас когда-то: обручила нас навсегда с нашей юностью и вручила нас друг другу…

Крыша огромного старинного дома, по которой мы бегали летними полнолунными ночами, по её сверкающему в лунном свете гребню… Балкончики и мансарды, и башенки, и флюгера – они помнят нас безнадёжно влюблёнными, отчаянно весёлыми и несчастными одновременно.

Когда это было?…

Фырча, как цирковой морж, такси несётся по декабрьской реке, вышедшей из берегов… Эти бульвары помнят нас молодыми. Эти мостовые. Эти деревья. Антон: “Да вы и сейчас не старые!” Ну, разумеется! Мы самые молодые и самые сумасшедшие родители! Иначе бы у четырнадцатилетнего Антона, семнадцатилетнего Саши и двадцатилетней Анюты не появилась бы младшая сестра. (Впрочем, Анюте, пока я лежала в роддоме, исполнился двадцать один. И хотя не я рожала Сашу и Анюту – но всё равно они НАШИ общие дети).

“А вон историческая телефонная будка!” Антон: “Чем же она историческая?” – “Однажды ночью, в июне, совершенно белой ночью, белой от луны и сиреней, папочка от избытка чувств влез на эту будку, сидел на ней и болтал ногами… А милиционер смотрел на нас и смеялся!”

– И сколько же вам было лет?

– Ровно столько же, сколько сейчас. Минус восемнадцать.

Действительно, когда это было?

Это было ВЧЕРА.

На окраине Москвы, неподалёку от Северного Речного вокзала, на нашей окраине, именуемой – Речвок, у нашего дома, тёмно-синего в тумане, отфыркиваясь, такси причалило к мокрой панели. У подъезда – никого. Прекрасно! Суеверно боясь сглазу, все долгие месяцы ожидания Иксика я избегала встреч с соседями. Никто в нашем четырнадцатиэтажном многолюдном доме не знал о том, что я ЖДУ. И сейчас любопытные взгляды не простреливают оранжевое одеяльце. Слава Богу!

Выходим на тротуар. Голова кружится от свежести… “Антоша, подержи!” – ты протягиваешь Антону Ксюшу, тебе надо расплатиться с шофёром. “Ой!” – говорит Антон и смущённо подставляет руки корытцем. Он стоит с этим невесомым свёртком, высокий, тонкий мальчик, с растрёпанной охапкой тёмных волос и детским улыбчивым ртом. Вокруг плещется туманный сырой океан… Ярко сияет оранжевый бутон…

Дома нас встречает моя мама – дважды бабушка. “Наконец-то! – говорит она. – Наконец-то я дождалась свою внучку. Столько лет!…”

Она берёт на руки долгожданную пришелицу и восклицает: “Копия ты!” – “А по-моему, копия Антон. А лоб – папин. Философский. Вообще-то, она похожа на всех нас”. “Вовсе ни на кого она не похожа”, – возражает Антон. “Она похожа на себя. На Иксика!” – говорит папа.

Дом нас встречает запахом безумной чистоты, сверкающими полами, невероятным отсутствием пыли. Неужели это возможно в нашей бумажной писательской норе? “Мы старались, – говорите вы, смущённые моими горячими похвалами вашей доблести. – Втроём, не покладая рук…”

Дом встречает нас ещё одной, вашими стараниями сотворённой, комнаткой! Была квартира однокомнатной – стала двухкомнатной. “Отличная была у тебя идея”, – говоришь ты.

Получилось действительно здорово. Нежная, как

августовский день на закате, штора разделила комнату на две. И там, где прежде стоял старый работяга муфель, где громоздились коробки с керамикой и ящики с крымскими камнями и колючками, где возвышались, напичканные творческой пылью, башни папок с рукописями, – теперь здесь лучезарное сверкание… И – в этом сверкании – кроватка! Ожидающая свою маленькую хозяйку.

У кроватки – тюльпаны! Тюльпаны в декабре!… “Милый, откуда?” – “Ночью, у какого-то мужичка на углу”.

Наш дом, наша маленькая квартирка, наша обновлённая вселенная излучает волнующие ароматы НОВОЙ ЖИЗНИ… “Хорошие мои, как вы отлично всё устроили!” – “Правда, тебе нравится?” – “Ещё бы!…Чувствуется, как вы нас ждали!”

Распелёнываем Иксика… (Нет, совершенно не помню этого первого пеленания! Помню лишь своё волнение, свои непослушные, забывшие, как это делается, руки). “Ничего себе, опытная мама!” – изумляюсь я сама себе. Оказывается – всё, как в первый раз! Хрупкое, как у неоперившегося птенца, тельце, к которому боязно прикоснуться: кажется, в нём всё так непрочно! Гноящийся пупок, кровоточащая попка – наследие “фирменного” роддома. (Пупок мы будем лечить целый месяц, с попкой тоже придётся повозиться, чтобы зажила. Такое впечатление, что детку вообще ни разу не перепелёнывали и в последний момент отодрали грязную пелёнку прямо с кожей!)

Потом Ксюша водружается в свою кроватку! Подходит робеющий Антон. “Прикоснись к ней”. “Ой, что ты! Боюсь…” И тогда я беру его упирающуюся руку, ласково притягиваю её к Ксюшиной лапке (она действительно похожа на птичью лапку), – и… крошечные пальчики цепко хватают Антона за указательный палец. На одной фаланге Антонового пальца – четыре Ксюшиных.

“Ну, вот и поздоровались, – говорю я. – Ксюша, это твой братец. Антончик, это твоя сестрица”. “Ужас, какая маленькая!”

И – завертелось волшебное колесо! Которому вертеться ни один день, ни один месяц…

Кормления-пеленания-кормления-пеленания-купания - пеленания-кормления-гуляния-кормления-пеленания…

ПЕРВАЯ НОЧЬ ДОМА

Всю ночь лил дождь, и она спала. Спала, не просыпаясь, не издавая ни шороха, ни звука. А я всё равно не спала, не в силах воспользоваться этой короткой передышкой перед долгим марафоном. Всю ночь прислушивалась к её дыханию. А оно было неслышным, как у птенца. То и дело вставала и подходила послушать.

Облако прохлады над кроваткой!… Дочка моя ещё не могла надышать, обогреть пространство вокруг себя. И под одеялом у неё было прохладно. Внутри прохладнее, чем снаружи.

Господи, какая же она ещё маленькая! А зима – только в начале…

ЦЕПЬ ЧУДЕС

Вчера, когда я вернулась из роддома с малышкой Ксюшей, – мой сын подарил мне цепочку. Сделанную его руками в те дни и вечера, когда решалась наша с Ксюшей судьба.

Почти две недели мы были в разлуке. – Самая долгая разлука за всю нашу жизнь…

Эта цепочка сделана из обычной медной проволоки, но она насыщена такой силой любви и ожидания, что кажется, будто сделана из самого драгоценного металла.

В цепочке семьдесят семь звеньев. Семьдесят семь обращений ко мне и – к Небу…

Я надела её и едва не разрыдалась. Так остро я ощутила неразрывность связи с моим мальчиком.

…А под утро, когда все в доме спали, всё моё драгоценное семейство: мой муж, мой сын и моя дочь, – я не спала и придумала название Антошиному подарку: “Цепь чудес”.

Лежала в этой блаженной предутренней тишине, наполненной дыханиями моих любимых, и думала о том, что вся моя жизнь – это непрерывная цепь чудес…

Утром, за чаем. (Господи, неужели мы опять все вместе, и опять, как всегда, вместе пьём чай?! Ещё неделю назад это казалось недостижимой мечтой…)

“Я хотела бы вспомнить семьдесят семь чудес мой жизни”, – говорю я.

– Ну, три чуда – известно какие…- смущённо улыбается Антон.

Он угадал. Три самых больших чуда – вот они, рядом со мной.

– Вспомни – и напиши повесть, – говорит Гавр.

– Может, когда-нибудь и напишу…

…Я держу в руках Цепь Чудес, перебираю её сверкающие звенья, как чётки, перебирая в памяти чудеса своей жизни – как молитовки… Пятьдесят два чуда я уже вспомнила. Конечно, я вспомню ещё двадцать пять чудес; если не сегодня, так завтра, или – в канун следующего Нового года. Может быть, к тому времени я даже напишу книгу. Хотя такую книгу надо писать на закате жизни.

А пока… Я надеюсь, чудеса не кончаются.

А пока – меня призывает к себе Ксюша, а вокруг вьётся

Антончик в ожидании, когда я уступлю ему компьютер…

Цепь Чудес не прерывается!

…Вдруг услышала голос моей дорогой крёстной – из её далёкого далека: “Нуш, в твоей жизни всё – по закону чуда!”

МИЛЫЙ ИКСИК…

Иксик, милый Иксик! Слышишь ли ты меня?… Помнишь, как ты был дельфинчиком и плескался в океане? В тёплом, ласковом океане…

Ты узнаёшь эту музыку, Иксик? Эту мелодию, которая звучала ТОГДА – когда мы с тобой были ОДНО. Совсем недавно это было. Это было – вечность тому назад.

Иксик, я не могу тебе объяснить, почему мне так грустно. Ведь всё сбылось. Только сверкающая млечная тропинка перерезана… Необратимо.

Но ведь ты узнаёшь эту музыку, Иксик? Ты всегда будешь её помнить? Эту звёздную мелодию, под которую ты так весело плескался в своём океане… Когда мы с тобой были – одно.

О, как я помню эти твои кувыркания! Эти весёлые кульбиты, этот лёгкий бег по волнам, эти нежные постукивания (головкой или пяточкой?) – через тонкую стенку, разделяющую наши миры…

И вот – свершилось. Ты – в моих руках, крошечное сероглазое существо. Это ты там плескалась? Ты резвилась по ночам, не давая мне спать?

Это – ты.

Так почему же лицо моё мокро от слёз, и сердцу больно?

Ты не оставишь нас?… И твои глазки будут всегда смотреть на нас, и ты всегда будешь озарять нас своими милыми улыбочками?…

Как мучительно наше расставание: *расставание* во имя *встречи*. Каждый мой атом тоскует о том времени, когда мы с тобой были ОДНО.

Каково же тебе, моя милая? Мой маленький дельфинчик, вырванный из тёплых волн родного океана… Я ждала этого дня – и то не могу прийти в себя. Ты же – не ждала, не ведала… Каково тебе, моя маленькая пришелица из вечности? Моя сероглазая инопланетянка…

Ты узнала эту мелодию, узнала! Нашу-с-тобой музыку. Музыку той жизни, когда мы с тобой были одно…

Каждый день я ставила на проигрыватель старую любимую пластинку Поля Мориа. Это был условный знак, пароль. Я посылала эту мелодию в глубины твоего космоса, – и ты неизменно отзывалась… Вижу по твоим глазам: ТЫ УЗНАЛА. Вспомнила, узнала.

Тихонько кружусь с тобой по комнате…

Всматриваюсь в твоё лицо… Оно – такое ещё В СЕБЕ

(Господи, ведь тебе всего семь дней!) – твоё лицо при первых же звуках НАШЕЙ МУЗЫКИ преобразилось.

Ты одна можешь понять, о чём я грущу…

* * *

Но когда ты приникаешь к моей груди – мы опять ОДНО.

Ни за что не променяю наши кормления – на облегчённые: из бутылочки. Наши долгие, наши космические кормления, по полчаса, по сорок минут, с твоими засыпаниями и просыпаниями, с моим истомлённым зависанием, замиранием над этой звёздной, тихо посапывающей, старательно почмокивающей бездной…

Каждые два часа дом оглашается голодным криком нашей детки. И ночью – тоже. Жизнь превратилась в сплошное кормление.

“Устала, милая?” – “Блаженствую!” – “Но ведь устала же?” – “Конечно, устала. И всё равно блаженствую…”

…Когда-то, в ПЕРВЫЕ ДНИ, были кормления мамины и – кормления папины: из бутылочки. Через раз. Потому что молочка у мамы было – жалкие капли, и оно не успевало приходить. Папа гордился. Папа шалел от счастья, когда крошечная, как куколка бабочки, Ксюша, лежала у него на коленях и сосала из бутылочки.

Но дочка очень быстро уловила разницу между бутылочкой и мамой. И – предпочла маму! Маму, которая плакала от отчаянья, что ей нечем кормить детку. А детка кричала и требовала маму, маму, маму! Восемь раз в сутки – МАМУ!

И – молочко стало приходить на этот требовательный зов из каких-то неведомых глубин…

Кончились папины кормления. К великому папиному огорчению. Но – и к великой папиной гордости. “Ты такая замечательная мама!” – говорит он. “Ты мне это скажешь через год”, – отвечаю я. “Боже мой, неужели ты собираешься кормить ЦЕЛЫЙ ГОД? Ведь всего только десять дней, а ты уже падаешь от усталости. Хотя бы месяц тебе продержаться!” – “Ничего, с Божьей помощью выдержим…”

(Мы и не подозревали, что продержимся не только целую вечность Первого Года, но и ещё два месяца сверх этой вечности!)

Три часа декабрьской ночи. “Уа-уа!…” Ты кладёшь рядом со

мной на подушку разгорячённого сном, нетерпеливо ищущего маму Иксика – и… Стыковка в космосе произведена успешно.

“Ну, как, причмокнулась?” – “Причмокнулась…”

НЕ ЗАБЫТЬ:

Иксик в руках у папы. Иксик, дрыгающий голыми ножками, – в папиных ладонях. Весь (со всем своим дрыганьем!) уместившийся в двух папиных ладонях, как в тёплой раковине…

Вот какой крошечный Иксик.

* * *

“А это пришёл наш братик. Он чем-то огорчён. Нет, он просто задумчивый…”

Он садится на краешек тахты, на которой я пеленаю его сестру, и смотрит на неё долго и грустно.

– Такая маленькая… – сокрушённо говорит он. – Разве у нас с ней может быть что-нибудь общее в жизни?…

– Это, Антончик, от нас ото всех зависит, и от тебя тоже: будет ли у вас общее. Конечно, будет. Должно быть.

– Что?

– Жизнь. Сама жизнь. И ты для Ксюши будешь очень много значить.

– Откуда ты знаешь?

– По себе знаю. И не только по себе. Старший брат для маленькой сестры – главный авторитет. Главнее, чем родители. Она тебе будет рассказывать о том, о чём не расскажет нам. Родители всё-таки всегда немножко зануды в силу своего возраста… И потом: девочка, у которой есть старший брат, чувствует себя намного защищённее, увереннее.

– Да, я заметил: девчонки всегда хвастают: а у меня есть брат, у меня есть брат!

– Мне всегда не хватало брата. Даже и сейчас, хотя это и странно, может… А когда маленькая была, я его себе придумывала, ждала его, писала ему стихи…

– Ты у нас, мама, вообще романтическая натура. А скажи: почему у Ксюшки разные ушки?

– Понятия не имею. Наверное, Тот, кто лепил эти ушки, никак не мог решить: какое всё-таки лучше?

Мы смеёмся. И – опять вздох:

– И всё-таки ужасная разница в возрасте!

– А у нас с тобой ужасная?

Ты задумываешься. Пожимаешь плечами:

– Да вроде нет… Я так не ощущаю.

– И я не ощущаю. Так почему же у вас с Ксюней – ужасная? Если у нас с тобой двадцать четыре года, а у вас с ней всего четырнадцать!

– Ну, ладно. Поживём – увидим…

* * *

Первым нас посетил Юрий Михайлович. Наш семейный врач, наш любимый доктор, которого мы между собой ласково зовём – Юмих. Скоро четыре года, как он опекает нас. Уже не просто врач – друг.

…Все долгие и трудные месяцы ожидания Иксика он приходил по первому зову. Снимал боль. Разгонял страхи. Заряжал оптимизмом. Как будто подключал к невидимому, щедро бьющему источнику… И всё это – “мановением руки”. Руки у Юмиха замечательные! Они “видят” лучше рентгена. А от ладоней идут лучи горячей энергии!…И – целительнее всяких лекарств – спокойный, ласковый голос:"Посмотрите мне в глаза. Улыбнитесь! Вот так. Всё будет хорошо. Вы меня слышите?"

…Четыре года назад он поднял меня из мучительной безнадёжности, когда казалось: жизнь кончена. Нормальная человеческая жизнь. Каждое движение причиняло боль: трудно было пройти по комнате, не было сил стучать на машинке и даже водить ручкой по бумаге. А голова была как чугунная и давно уже не производила светлых мыслей – только мрачные. Разные врачи ставили мне разнообразные диагнозы, выписывали горы лекарств, но легче от этого не становилось. Становилось хуже.

Была весна. Но она проходила мимо меня: я не знала, выйду ли я когда-нибудь на улицу?…

И вот настало утро, когда я не смогла уже подняться с постели.

Тогда-то мы и позвонили этому доктору. О котором нам сказали: “Доктор уникальный”. И предупреждали: “Слишком загружен. По мелочам звонить не стоит”.

Но в то утро я сказала Гавру: “Всё. Звони”. И на первой же его сбивчивой фразе этот загруженный доктор перебил Гавра: “Говорите ваш адрес. Я выезжаю”.

И он действительно приехал. Высокий, большой человек, с нахмуренным, усталым лицом немолодого уже Челентано. Неторопливой походкой тяжелоатлета вошёл в комнату… Меньше

всего он был похож на доктора.

Я оробела. “Ну, что тут с вами случилось?” – спросил он сурово, как папаша, который собирается задать трёпку. Я совсем растерялась… Что-то путано, извиняющимся тоном, стала объяснять. Ему было явно скучно слушать меня. Его словно бы даже дремота окутала от скуки. Нетерпеливо перебил: “Ладно! Я лучше сам вам расскажу, что с вами”. И – (дремотной скуки как ни бывало!) – пронзил меня взглядом-рентгеном…

Он рассказал всё. Это было невероятно. Он рассказал даже о том, о чём я сама уже не помнила…

А потом – произошло чудо.

В процессе сотворения этого чуда я ощущала себя кубиком Рубика – в жёстких руках, не знающих сомнения. Моё тело, уже столько месяцев не желавшее нормально двигаться, словно бы заржавевшее, – сейчас трещало, хрустело, ломалось, выпадало из одной плоскости в другую… Казалось: ещё чуть-чуть – и конец. Не выдержит сердце.

(Года через два я привыкну к этим поистине цирковым процедурам, но в тот, первый, визит Юмиха было по-настоящему страшно).

“Ну, вот я и поставил их на место, ваши позвонки, – сказал, тяжело переводя дыхание, доктор.- Вставайте, вставайте!”

И я – встала. Ошеломлённая тем, что после всего – жива!

“Ещё долго проживёте!”- сказал мой спаситель и… улыбнулся.

Улыбнулся – как будто снял с лица сумрачную маску; и лицо под этой маской оказалось удивительно добрым, даже нежным…

Проводив доктора, мы пошли гулять под ночным майским дождём… И танцевали под этим райским дождём! И голова моя была легка, как одуванчик!

Во дворах, в благоуханной тьме, ликовала черёмуха…

Прошло четыре года. Пациентами нашего чудесного доктора (Юмих может всё!) постепенно стали все наши дети, наши друзья и знакомые. Он не отказал ни разу.

В проницательности Юмиха мы за эти годы убеждались много раз. Убедились и ещё раз. Девять месяцев назад, когда Иксик только-только зачинался во мне, Юмих, взглянув на меня своим особым – пронзительным, пронизывающим взглядом, сказал с невозмутимой уверенностью: “Девочка”. “Мальчик!” – возразила я.

“Зачем вы со мной спорите? Я же знаю, что говорю”. – “Откуда, Юрий Михайлович?!” Он пожал плечами: “Этого я не могу вам объяснить. Просто *вижу*”.

ПРОСТО!

– Ну, вот видите, – сказал Юмих, входя и улыбаясь замечательной своей улыбкой, всегда такой неожиданной на строгом, почти суровом лице. – Вот видите. А вы со мной спорили.

Он подошёл к Ксюшиной кроватке, взглянул на нашу детку, прощупал своими чуткими руками пространство вокруг неё, пригладил его, точно воздушную гриву; прошёлся пальцами по невидимым силовым линиям, как по струнам… Посмотрел отрешённо куда-то в космос… И – улыбнулся – нам, напряжённо ожидающим. “Я же говорил, что всё будет нормально. Прекрасный полноценный ребёнок!”

Ещё он, правда, сказал про повышенное внутричерепное давление, но после слов “прекрасный ребёнок!” это нас не испугало. Тем более, что мы ещё не знали, чем это нам грозит…

Юмих посидел с полчасика, с улыбкой глядя на нашу суету с клизмочкой и прочим, дал несколько ненавязчивых советов и всё время восхищался ловкости, с какой папа пеленает дочку: “Гавр, я и не подозревал, что вы такая прекрасная нянька!”

Вспомнили и рассказали Юмиху историю, уже почти семейную легенду: о том, как у наших приятелей родилась дочка, и когда её принесли из роддома, Дуся, как и положено ей было по младенческому статусу, вскоре наделала в пелёнки. Лежала и ревела, а вокруг неё стояли и плакали мама, папа и дедушка. Никто не знал, что же теперь делать. Точнее – КАК делать.

Позвонили Гавру. Гавр приехал – и перепеленал.

Теперь – папа, мама и дедушка вспоминают то первое пеленание и смеются: “А не приехал бы Гавр, так до сих пор и лежала бы наша Дуся…”

Юмих тоже посмеялся. И неожиданно признался: “А я к своему Мишке боялся прикоснуться”.

Это было удивительно: всемогущий Юмих чего-то боялся!

Прощаясь, он приобнял нас совсем уж по-родственному, по-отечески. И мы – на мгновение – блаженно и благодарно ощутили себя детьми…

ПАПА УШЁЛ В ОТПУСК

Папа ушёл в отпуск и стирает пелёнки…

Но он ни за что так не скажет: стирка пелёнок. Он говорит возвышенно, с упоением: омовение пелён!

Папа стоит, склонённый над тазом с пёстрым ворохом, денно и нощно, ибо дитя наше водообильно, дитя наше неутомимо. Мы смеёмся: Ксюша старается, чтобы у папы не было гиподинамии!

И папа рад, папа счастлив, и он уже заранее печалится о том времени, когда пёстрый ворох иссякнет…

“Но ведь это ещё так не скоро!” – утешаю я его, хотя хорошо помню, как сама плакала, когда кончились Антошкины пелёнки… Я думала: у меня этого не будет больше никогда.

И у меня этого действительно нет! “Дай постирать, – прошу я тебя. – Ну, хоть чуть-чуть!” Но ты не умолим: “И не проси. По крайней мере – год”.

…Денно и нощно журчит в нашей оранжевой, наполненной жаркими парами, ванной комнате вода, денно и нощно трудятся папины руки: совершается омовение пелён!

“Устал, милый?” – “Блаженствую!”

А когда ты их гладишь, у тебя такой торжественный вид, словно ты гладишь платье королевы!…

О ЧЁМ ОНА ПЛАЧЕТ?

“О чём она плачет?” – спрашивает Антон, страдальчески прислушиваясь к плачу за стеной.

О чём она плачет?… Посреди белого пространства. Среди голой степи… Как же ей не плакать? Любой заплакал бы. Эта бескрайняя неприютная степь – кроватка. Мало того, что выдернули из мамы. Так ещё и на старом месте не дают спать!

НАШ НОЧНИК

Ночником нам служит Каптеревский Фонарь. Фонарь Старого Художника, который он привёз из Средней Азии, когда был молодым…

Этот фонарь много десятилетий висел в старомосковской квартире – среди загадочных, мудрых и озорных картин Художника, среди черепков старинной посуды, причудливых камней и прочей живописной разности.

Старый Художник был нашим другом. Его фонарь достался нам в наследство. Так же, как множество его загадочных картин. Одни из них – на стенах нашей комнаты. Словно окна в таинственные миры… Другие – живут в шкафу и извлекаются оттуда, когда приходят друзья.

Теперь на картины Старого Художника смотрит Ещё Один Человек.

Теперь Каптеревский Фонарь освещает наши счастливые хлопотливые ночи без сна…

НАШ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ

Пеленальным столом нам служит старинный дубовый стол на четырёх львиных лапах. Он нам тоже достался по наследству. От Старого Художника и его жены – нашей крёстной. Моей и Гавра. Так счастливо случилось, что у нас с ним – общая крёстная.

Этот стол много лет стоял на кухне в одном из переулков старой Москвы. Он помнит многих… Вокруг этого стола, за чаем и беседой, собирались друзья дома – поэты и художники, астрономы, актёры, путешественники… Дети и мудрецы.

Переселившись в наш дом на Речвоке, стол несколько лет был нашим рабочим столом. На нём стояла пишущая машинка. Ещё за этим столом лепили из глины. Потом на нём поселился компьютер, наш трудяга-роботрончик.

Теперь в жизни поскрипывающего, но всё ещё крепкого старца, которому давным-давно перевалило за полторы сотни лет, – теперь в его жизни настала эпоха Ксении. Эпоха пелёнок и погремушек. Ему, небось, такое и не снилось…

УТРЕННИЕ СВИДАНИЯ С СЫНОМ

Ты смотришь на меня с вопросом. По утрам, когда я, покормив Ксюшу, выхожу к тебе на кухню.

Ты стоишь у плиты и варишь овсянку – нашу ежеутреннюю простую пищу. “Как Ксюша? Как у тебя с молочком? Сколько удалось поспать? Два с половиной часа? О, это уже достижение по сравнению с вчерашним.”

Твои вопросы согревают сердце, твоя улыбка озаряет пасмурное декабрьское утро, знобкое от недосыпа. А в глазах твоих – вопрос, в котором ты сам себе, наверное, не отдаёшь отчёта. Ты спрашиваешь меня без слов.

И я отвечаю тебе: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. Как прежде. Нет, – ещё огромнее! Разве ты не чувствуешь сам?… Новая любовь лишь обостряет любовь, царящую в сердце дотоле. Это – свойство настоящей любви: она – приумножает.

“Милый, хороший, ненаглядный! Мальчик мой заботливый. Самый прекрасный брат на свете!”

“Почему это самый прекрасный?” – смущённо переспрашиваешь ты. “Вот Ксюша подрастёт и сама тебе скажет, почему”. – “Когда это ещё будет?…”

* * *

“Тебе нельзя читать эти газеты, Ксюша будет плакать”.

Мне нельзя читать эти газеты. Мне нельзя есть эти продукты. Нельзя думать эти мысли. Ходить по этим улицам. Смотреть в эти лица… Практически всё нельзя. Всё – вредно. Мне – кормящей женщине. В этом городе, в этой стране…

По улицам я пока не хожу. В злые лица прохожих не смотрю. Но ем то, что Бог послал нам на бедность. Нам – усталому скопищу людей на оскудевшей земле…

И я не могу не читать газеты, где про Андрея Дмитриевича!

От меня их старательно прячут, но я всё равно нахожу и читаю. И плачу… И всё никак не привыкну говорить о нем в прошедшем времени: был…

“Ну, вот, ты опять… Ты же обещала, что не будешь. Зачем ты себя растравливаешь?”

“КУДА УЛЕТЕЛ НАШ ПРОФЕССОР?”

“Куда улетел наш Профессор?” – спрашиваем мы друг друга, выглядывая утром за окно. Снежок – не мятый, золотое пшено – не тронуто… Куда улетел наш Белый Голубь, наша благая весть? “Ну, что ж, – говоришь ты. – Возвестил. Сделал своё доброе дело – и полетел дальше. Туда, где он нужен сейчас. Между прочим, он исчез на следующее же утро после Ксюшиного появления на свет. Полетел дальше…”

Мы смотрим в запорошенный снегом мир… Где-то там летает наша волшебная птица, Благая Весть, стучится нежным клювом в чьё-то окно, осеняя чьё-то сердце надеждой…

* * *

Вторым нас посетил Доктор Коля. Наш филатовский доктор. Тот самый, который когда-то спас Антошкин палец.

В ту осень мы ездили, ездили с этим несчастным пальцем в травмапункт, целый месяц… И подружились с нашим Доктором. На всю жизнь. (Теперь уже ясно, что на всю).

Доктор Коля и Юмих – два ангела-хранителя нашей семьи. То, что мы с Иксиком более-менее благополучно прошли через горнило совкового роддома – спасибо Доктору. Это он определил нас туда, где не совсем, не окончательно безнадёжно. Конечно, и там, в хвалёном заведении, было жутковато (куда от этой совковой жути убежишь?), но была всё же и надежда: не дадут пропасть.

МОЖЕТ БЫТЬ…

– Дайте, дайте повозиться с ребёнком! – умоляет Коля. – Сто лет не пеленал маленьких девочек.

– Ну, так уж сто? Младшей-то всего пять.

– Ой, ребята, так быстро забывается… Ну, дайте же! Да не бойтесь: не сломаю вашу куклу.

Он, детский хирург-травматолог, обращался с нашим сокровищем весело и уверенно, крутил-вертел, как хотел, я только охала, а он хохотал на мои охи. А потом и вовсе выставил меня, слабонервную, из комнаты. И там, за закрытыми дверьми, два бесстрашных мужчины занялись Ксюшиным пупочком. Вернее – кровоточащей и гноящейся ранкой на том месте, где когда-то

(только через месяц!) образуется хорошенький пупок. А пока – больно смотреть и страшно прикоснуться.

Филатовский доктор учил папу быть Ксюшиным доктором.

…А когда Ксюня уснула, мы сидели и пили чай. (Ничего себе: уже гостей принимаем! А ведь нам только десять дней.) И вы с Доктором опять заспорили. Уже много лет длится ваш спор и конца ему не видно. А начинается он всегда с одной и той же фразы Доктора:

– Вы же знаете, ребята, что я – материалист.

На это можно только расхохотаться. Действительно, что может быть смешнее, чем это заявление из уст нашего Доктора?

Доктор смотрит на нас с хитроватой улыбкой, ждёт, когда мы отсмеёмся…

А я думаю: “Если бы мир был сплошь из таких материалистов, как Доктор и Юмих, он был бы *идеально* устроен!”

* * *

Приезжала Анюта. Познакомилась с сестрёнкой. Послушала её отчаянный плач…

Потом папа укачивал страдающего Иксика, Иксик лежал щекой на папиной ладони… Анюта взяла лист бумаги, карандаш и быстро-быстро зарисовала: крошечный Иксик на папиной руке – как воробушек на ветке дерева…

ВОЛШЕБНЫЙ ТЕАТР

Такой прекрасной наша комната ещё никогда не была!

Наша “многокомнатная” квартира. Пёстрый занавес из пелёнок… Волшебный театр чудесных превращений. Ежеминутных.

Декорации к самой лучшей из сказок. Скажи, неужели эта сказка – ПРАВДА?

– Хочешь – ущипну? – смеёшься ты.

МОЙ МАЛЬЧИК. МОЯ ДЕВОЧКА. МОЙ МИЛЫЙ.

Мои бесконечные монологи, обращенные к вам. Мой мальчик. Моя девочка. Мой милый.

Моё счастливое разрывание между вами. Кормлю дочку – а сама мысленно разговариваю с сыночком, который сейчас за стеной. Или в лесу… Общаюсь с сыночком, пропахшем лесным костром, ветром и соснами, и при этом прислушиваюсь к звону погремушки за стеной… И всё время бегаю на лоджию, выглядываю: где там милый? Не спешит ли к дому его высокая, стремительная фигура – одно плечо чуть ниже другого, под тяжестью портфеля?…

Хочется всё время быть вместе. Сразу со всеми. Тесно, близко. Чтобы обнять сразу всех троих – и не отпускать… Моего Мальчика. Мою Девочку. Моего Милого.

Люблю наш маленький дом. Комнату, разделённую шторой на спаленку (она же – детская), и гостиную (она же – наш рабочий кабинет: кабинет двух писателей, где книги, архивы и компьютер). И кухню, разделённую таким же образом на комнатку сына, тоже пишущего человека, и собственно кухоньку, она же – столовая. Тесно. Всё время касаемся друг друга плечом. Невозможно сделать ни шагу, чтобы не погладить кого-то по затылку, или чмокнуть в щёку.

Ночью я слышу стуки в стену… Это вращается на своём маленьком диванчике мой стремительно растущий мальчик. Во сне, то локтем, то коленкой он даёт нам об этом знать.

НАША МАЛЕНЬКАЯ КВАРТИРКА

Даже чихнуть негде! – вечером, когда оба ребёнка спят. С зажатым носом бежишь в ванную, и там, уткнувшись в мякоть халата, производишь свой полузадушенный чих. То же самое, если вечером вдруг приспичит разбить яичко. Идёшь в ванную и там стукаешь о край умывальника.

Вечерние телефонные разговоры – тоже отсюда, как из батискафа: под мерное журчание вечно испорченного бачка…

Пока думала, что живём мы в квартире, периодически начинала сокрушаться: как же она мала!

И вдруг увидела: это вовсе не квартира – а шкаф! Огромный такой, очень вместительный шкаф: с бесчисленными отделениями – для одежд, рукописей, картин, цветов… И даже место для жизни ещё остаётся! Можно передвигаться, танцевать с Ксюней и принимать гостей.

В каком прекрасном шкафу мы живём! Не в маленьком дому, а в огромном шкафу. Не в маленьком – а в огромном. Чувствуете, милые мои, разницу? Правда, вам сразу стало и веселее, и просторнее?

“НОЧНЫЕ ЗАСТУЛЬЯ” -

так назвал наши ночные посиделки Антон. В нашей крохотной прихожей за чаем и за разговорами шёпотом – о них, о наших детках…

Когда оба ребёнка спят, выносим в прихожую чайник и три стула. Третий служит столом. (Отсюда и пошло – “застулье”).

Здесь можно пошелестеть вечерней газетой, и поработать – если есть на это силы…

* * *

Хочется непрестанно видеть глаза моих любимых. Чувствовать их дыхание. Быть в разных уголках нашей бескрайней квартирки – для меня уже разлука. А уж когда мальчик убегает в лес, или милый на работу, – это уже расставание, уже боль; это стояние на лоджии на ветру и вглядывание до рези в глазах в убегающую вдаль фигуру, это – ожидание и непрестанная молитва, пока не вернутся…

Только девочка пока никуда от меня не уходит. Хотя… как знать? Когда она так таинственно улыбается во сне, или когда так горько плачет, не уходит ли она ещё дальше?… Куда-то в свою неведомую вселенную…

О ПЛАЧАХ

Господи, как же я хорошо понимаю, каково ей быть отделённой от меня! Если мне так больно быть отделённой от неё.

Поэтому она так неутешно плачет…

* * *

Звонок старого школьного приятеля. В телефонной трубке – размягчённый голос, за которым слышится, точнее – видится: брюшко, лысина…

– Ну, что, скрипим? – спрашивает он меня.

– В каком смысле “скрипим”? – не поняла я.

– Ну, стареем?…

– В каком смысле “стареем”?

Размягчённый пластилиновый голос откликается неопределёнными междометиями:

– М-м-м… к-хе… н-да…

Вот и поговорили.

* * *

Любопытно: многие из наших друзей не поздравили нас с появлением Ксюши. Словно бы обиделись на нас. За то, что мы не желаем стареть с ними за компанию.

* * *

Свой первый Новый год – 1990 – двухнедельная Ксения встретила в блаженном сне, тихонько посапывая посреди тахты. Такой маленький тёплый воробушек…

“А ЭТО ПРИШЁЛ НАШ БРАТИК”

Каждый раз, когда в комнату заходит Антон, я говорю Ксюше: “А это пришёл наш братик”.

– Она же не понимает ещё ничего, – говорит Антон.

– Но она учится понимать. Н а ш е. Своё-то она прекрасно понимает.

– А у неё есть с в о ё?

– А как же! Она ведь из вечности пришла, она её ещё помнит… она ещё в ней живет. Больше в ней, чем здесь. Но она учится понимать и наше тоже.

И продолжаю:

– Нашего братика зовут Антон. Он пришёл к нам с доктором Споком. Он поваляется здесь на тахте и почитает, и нам всем будет веселее.

– Ну, про Спока это уж совсем лишняя информация, – говоришь ты.

– Как знать… И потом: она же не слова сейчас слышит, а интонацию, настроение.

– И что же она слышит в данную минуту?

– Она слышит: наш братик соскучился по нас.

– Ты уверена, что она это слышит?

– Абсолютно.

– Хм… если это, мама, не твои фантазии, то над этим стоит подумать.

* * *

– Просто тогда я была молодой…

– Мама, а разве ты сейчас не молодая?

– Ну, всё ж-таки не такая, как четырнадцать лет назад.

Смотрит оценивающе. Заключает:

– А по-моему, моложе быть просто нельзя.

Милый мой мальчик!

* * *

Что было первым, что *увидела* Ксюша в этом мире? – Был багульник. Сухая январская веточка с лиловыми цветами…

– Это – багульник, – сказала я дочке. – Смотри, какие чудесные цветочки, словно бабочки…

И в это мгновение её взгляд сфокусировался на цветущей ветке. И я увидела, как она осознанно и с интересом РАССМАТРИВАЕТ!

(Через два дня ей исполнялся Месяц).

– Смотрите, смотрите! Она уже пришла СЮДА!

* * *

Соска большая, нежно-голубая, с кольцом, как у Сатурна.

Иксик – маленький. Кажется, что соска чересчур велика, но это просто Иксик очень маленький. И когда Иксик её сосёт, то кажется, что не соска прилагается к Иксику, а наоборот: Иксик – к соске.

А сосёт она её – виртуозно! Она то выталкивает соску язычком, но, не дав ей выпасть окончательно, зачмокивает обратно. Голубой Сатурн вращается и порхает, а Иксик так мал в сравнении с ним, что так и хочется окликнуть:

– ЭЙ, ТАМ, НА ЛЕТАЮЩЕЙ СОСКЕ!

“ТЫ ПРАВА: ОНА УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ”

Антон подошёл и сел рядом со мной на тахту. “Ты что делаешь?” – спросил он шёпотом. “Смотрю на Ксюшу”. – “Ты же собиралась поспать. Пока она не плачет”. – “Не могу. Буду спать и просплю что-то главное”. – “Но ты же на неё почти круглые сутки смотришь!”

И тут Ксюнечка проснулась, открыла глазки и внимательно, словно бы вчитываясь в наши лица, посмотрела на нас.

Она была не где-то – не в своих космических глубинах – она была ЗДЕСЬ.

“Ты права, – сказал Антон. – Она уже совсем другая”.

* * *

– Почему я раньше успевала много, а теперь… Вот даже до дневничка руки не доходят!

– И ты не догадываешься, ПОЧЕМУ? – смеёшься ты.

И ОПЯТЬ:

– Почему я раньше успевала много, а теперь не успеваю ничего?

– Как НИЧЕГО? – возмущённо восклицаешь ты.

Да, да, милый, конечно! Ну, конечно же! Мы успеваем самое главное: любить наших деток.

* * *

“Ничего себе отпуск! – сокрушаюсь я. – Всё время за стиркой и все ночи без сна…” – “Прекрасный отпуск! – уверяешь ты, шальной от усталости. – Самый прекрасный отпуск в моей жизни…”

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Надо написать Володе письмо.

– Обязательно надо.

– Хорошо бы съездить.

– Ой, хорошо бы!… Только как?

Поездка к Володе – это за город, точнее – в другой город, хоть и не очень далёкий, это – целый день. Но эта роскошь пока не для нас.

А так хочется! К нашему замечательному Володе, который сам до нас доехать, увы, не может… К Володе хочется всегда. Как ты там, Володечка? Как себя чувствуешь в эту проливную зиму?… Работаешь? Саша и Анюта после поездки к тебе ходят наэлектризованные твоей энергией. После общения с тобой всегда хочется много-много работать!

Ребята говорят, ты удивительные вещи делаешь из камня. Хочется увидеть! А картины? Пишешь? Вот если бы ты написал когда-нибудь Ксюшу! Хотя написать её трудно, потому что эта девочка – ОКЕАН… Подумала сейчас: а ведь вы с Ксенией в каком-то смысле брат и сестра, коль ты – крестник Гавра. Скоро напишу тебе письмо!

* * *

Приезжал Саша. Познакомиться с сестрой не удалось, потому что Ксюша спала. Смотрел на неё с нежностью и удивлением…

Увы, увы! Саша и Анюта уже выросли. И нам никогда уже не жить одной семьёй. А так когда-то хотелось!…

Хочется и сейчас.

* * *

Кормлю Ксюшу… Вечер. В комнату тихонько заходит Антон.

– Можно посмотреть на вас?

– Конечно.

Он садится неподалёку и наблюдает.

– Интересно… Как это всё происходит?

Я отвечаю ему шёпотом, одними губами, потому что Ксюнчик очень чутка: мгновенно чувствует, если я отвлеклась от неё. И – тут же перестаёт сосать. Вскидывает на меня удивлённые глазища: ты где, мама?

Но вот она уже насытилась телесно и эмоционально, и переходит к насыщению информационному. Антон не выдерживает её взгляда. Смущённо:

– Почему она на меня *так* смотрит?…

– Она тебя изучает. Впитывает. Вспоминает.

– Ты думаешь?

– Я вижу…

СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА

28 января 1990 года, воскресенье.

Нашему Антончику сегодня 14 лет! Нашему Ксюнчику сегодня Месяц и две недели. К Антоше пришли мальчики, они веселятся в комнате, играют на компьютере, грызут яблоки и пьют газировку, уплетают сладости, а мы пока живём в Антошиной комнатке на кухне.

Никак не запишу в дневничок о Ксюшином Первом Месяце.

Вот она, первая Ксюшина общая тетрадь. С жёлтой, солнечной обложкой. Тетрадь про Ксюшу. Папа написал титул и первую страничку, а я продолжаю:

"…Самое главное: уже можно говорить о характере, темпераменте, склонностях.

Терпелива. Но когда терпение кончается – отчаянью нет предела!

Тактична. Ночью не будит нас, пока мы не окликнем её или не зажжём Фонарь. Это для неё – знак, что от тихого кряхтения можно переходить к громким требованиям и призывам.

Умна беспредельно!… (Пусть папа допишет этот пункт).

Внимательна, любознательна. О, как она изучает, впитывает, буквально всасывает взглядом наши лица и всё, что попадает в поле её зрения.

С чувством юмора всё в порядке. (Пусть папа допишет).

Темпераментна. Энергична. Активна. Настойчива.

Свободолюбива! Против пеленания с ручками запротестовала уже в первые дни. Точнее, это было даже и не пеленание, просто хотелось утеплить – всё-таки зима. Но какое там!…

Обидчива. Её плач всегда так горек и безутешен… Не успела подойти к ней в первую же секунду, как она позвала – ВСЁ!… Попробуй теперь утешь её.

Чистюля! Пролежать минуту в мокрых пелёнках – выше её сил, ниже её достоинства.

Не жадная до еды нисколько. Лишнего не съест, скорее – не доест.

Весёлая. (Когда не плачет). О, какими улыбочками она нас одаряет! И уже умеет строить глазки.

Не капризна. Зря не плачет. Причина слезам всегда есть.

Чутка. К голосам, звукам… Просыпается от скрипа половицы – так же, как её братец в её возрасте.

Нервная система очень возбудима. От этого – трудности со сном. Вздрагивает и плачет от каких-то внутренних, неведомых нам, раздражителей. Что ей снится, нашей крошке, когда она

начинает мелко-мелко дрожать во сне всем тельцем и – вдруг – распахивает в испуге глазки?… – Нам никогда не узнать, ибо тайна сия велика есть…

Музыкальна, о да! КАК она слушает пластинку Поля Мориа! НАШУ МУЗЫКУ! Ту самую, которую мы с ней слушали каждый день, – в то время, когда мы были ОДНО.

Любит воду: с удовольствием купается под НАШУ МУЗЫКУ…

Ласкова. Конечно, пока ещё не осознанно – а от природы.

Очень подвижна. Егоза. Удержать её на руках – дело не простое.

Трудолюбива. Настойчива. Только благодаря этим Ксюшиным качествам у меня есть молоко. Сосёт неутомимо!

Очаровательна. Грациозна. Женственна.

Ах, наша милая!

Наша доченька!

Наш загадочный Иксик!"

* * *

Ты говоришь:

– Давай дадим объявление в газету:

“Мы без ума от нашей дочки!”

ОНА СРАЗУ НАЧАЛА С МОНОЛОГОВ

На втором месяце. По утрам. Когда за окном зимняя тьма, а в комнате светит ёлочка и Каптеревский фонарь, просыпается ещё один – самый яркий – светильник. Два серых сверкающих глаза!

“Сверкоглазая ты наша!” – говорит папа.

Об этом ребёнке можно сказать тысячу слов – и всё будет мало. А можно сказать одним словом: “Пронзительный!”

На втором месяце, по утрам, она поёт. Это не отдельные звуки или слоги – это целые монологи! Долгие, упоительные… ОНА ПОЁТ НАМ О СЕБЕ. Мы стоим у кроватки, заворожённые, очарованные. Нет сил отойти, отвернуться, заняться делами, которых каждое утро – непочатый край. Но отойти от неё нет сил. Каждым звуком, каждой ноткой она устремлена к нам – как тут отойдёшь? Какие дела важнее того, что сейчас происходит в ней? В ней и – между нами. Какое чудесное, волшебное кружево сплетается в эти минуты! Наша новая пуповина…

ЕЩЁ РАЗ О ПЛАЧАХ

Февраль снежный, светлый… А у нас – опять тюльпаны, принесённые папой. И всё ещё стоит наша ёлочка, которую не хочется и некогда разобрать.

А нам уже Два Месяца! А мы не успеваем писать дневничок. Жалко и грустно. Многое забывается, потому что всего слишком много. И всё же, несмотря на нехватку времени, дневничок пополняется новыми страничками:

“Сегодня ночью думала над тем: почему Ксюша так отчаянно плачет, когда её вынимают из ванны? И Антон плакал. И многие малыши, знаю, плачут. Значит, есть общая причина?

Вчера вечером купали Ксюню. В воде – блаженствовала, глядя на нас распахнутыми пронзительными своими глазищами, внимая нашим голосам и НАШЕЙ МУЗЫКЕ…

И – опять, как всегда, в момент вынимания из воды, – душераздирающий крик!

Пока вытирала и пеленала – крик не прекращался. Да не просто крик – слёзы! И такое страдание на лице, такое отчаянье… О Господи, да что же это такое?

Утешить в эти минуты – невозможно. Она попросту НЕ СЛЫШИТ меня. Она – ДАЛЕКО. Взгляд её – как в первые дни жизни: далёкий, нездешний… Пробиться сквозь этот крик до её сознания – невозможно. И я сама готова плакать вместе с ней от бессилия…

А ночью, думая обо всём об этом, вдруг поняла! Наверное, всё объясняется очень просто. (Теперь, когда поняла, кажется просто. А ещё вечером казалось: навсегда и безнадёжно непонятно).

Всё – просто. Маленький детёныш, оказавшись в воде, – возвращается в родную стихию – как бы в лоно матери – в своё ДО-РОЖДЕНИЕ…

А в момент вынимания из воды, в момент отторжения от этой – ЕЩЁ ПАМЯТНОЙ стихии, более привычной, чем земная жизнь, – в этот миг ребёнок как бы переживает вновь ужас рождения…

Ужас рождения для нашей девочки пока самое яркое воспоминание. ЭТО ещё не отошло от неё и ничем пока не затмилось. Сознание и подсознание её пропитаны ЭТИМ. На одной чаше весов – ужас рождения. На другой – наши улыбки, голоса, яркая погремушка… Нет, не скоро ещё эта, вторая, чаша перетянет ту – другую. На которой – ТАКОЕ!…"

* * *

Нет, конечно, когда я говорю “поняла” – это не так, я не столь самонадеянна. Тут можно только догадываться, только хотеть понять, делать попытки, прилагать усилия, напрягая собственную память. И – вглядываться, ВГЛЯДЫВАТЬСЯ, вслушиваться, ВСЛУШИВАТЬСЯ в Маленького Пришельца из вечности…

* * *

– Тебе не кажется, что мы – на Крыше?
– Мы и есть на Крыше.

“ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, МАМА!”

Глава третья

И ОПЯТЬ СЛЁЗЫ…

“Как себя чувствует Ксюша?” – спрашивают по телефону друзья.

Как себя может чувствовать существо, которое напрямую связано с космосом? Если где-то в Бразилии циклон, дующий в нашу сторону, у Ксюнчика – головная боль (да-да, головная боль!), повышение температуры и прочее…

Такое ощущение, что у нас в доме поселился живой барометр. Маленький, но очень переживательный. Переживает и плачет…

“ТЕБЕ НЕЛЬЗЯ ЧИТАТЬ ЭТИ ГАЗЕТЫ”

Вы отбираете у меня утренние газеты. Вы прячете от меня статьи, которые могут вывести меня из равновесия. А это так легко – вывести меня из равновесия. “Тебе нельзя. Ксюша будет плакать”.

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– С первых же дней я почувствовала *это*. Только мы вернулись из роддома. – О чём ты? – Ну, Гавр, неужели ты не понимаешь? – Нет. – Почувствовала, что нас раздирают в разные стороны. Я это физически чувствую! – Кто раздирает? – О Господи, да разве некому? *Их много*… – Милая, хорошая моя, о ком ты? – *О них*… Кто-то стоит между нами: между мной и тобой, между мной и Ксюшей, кто-то не хочет, чтобы у нас было хорошо… – Но это же просто фантомы! Как ты можешь всерьёз к этому относиться? – Ой, кажется, Ксюша плачет!

“МАМА, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!”

И опять слёзы… Вот уже который час (которую вечность?) хожу с Ксюшей на руках, красной и взмокшей от крика. Я сама уже едва не плачу…

Рядом то и дело возникает Антончик: “Мама, всё будет хорошо! Ты только не переживай так сильно. Всё будет хорошо! Что ещё сделать? Я уже посуду помыл. Мусор вынес. Могу картошку на ужин сварить”.

Мальчик мой хороший, друг мой, спасибо тебе, без тебя я бы совсем пропала в эти вечера…

Потом приходишь с работы ты. “Даже у лифта слышно, как Ксюнчик плачет…” – “Это *они, они*! Они стоят между мной и Ксюшей! Они не пускают её ко мне! Видишь, она голодна, а грудь не берёт… Это они! Боже мой, какая мука! Господи, что же нам делать?!”

– И она давно так плачет?

– Давно… Миленький, позвони кому-нибудь! Не знаю, кому… Ну, кому-нибудь! Хотя бы нашему Доктору.

ПОТОМ ДОКТОРОВ БЫЛО МНОГО

Сначала пришёл наш Доктор Коля. Он сказал: “У вас нормальный ребёнок, ребята. Чего вы паникуете? Плачет? Все в таком возрасте плачут. Не обращайте внимания…” – “Коля! *Как* не обращать внимания?!” – “Вот у таких родителей дети всегда плачут…” – “Каких *таких*?” – “Таких нервных”.

Потом был доктор Юрий Михайлович, Юмих. “Ну, что? Замучила папку и мамку?” – спрашивает он Ксюшу, глядящую на него своими пронзительными глазами. Он “прощупал” руками пространство вокруг Ксюши и сказал: “Да, много тут всяких… тётек, дядек…” – “Умоляю, разгоните их!” – “Я этим и занимаюсь…”

Он долго колдовал над нею, а она с интересом наблюдала его пассажи.

Потом она спала… Это каждый раз воспринимается нами как аномальное явление в нашей жизни. “Спит?” – Спит… – “Неужели спит?”

“Нормальный ребёнок, – сказал Юмих. – Но показать специалисту всё же надо”.

Потом были специалисты. Специалист первый: “М-да… м-да. Вот рецепт на микстуру. Так, сколько ребёнку? Два с половиной? Придёте повторно в пять.”

Специалист второй: суровая женщина из научного центра. “В стационар на месяц! Если хотите, чтобы ваш ребёнок нормально развивался. Хорошенько проколоть!” – “Но… может быть, можно обойтись без уколов?…” – Нечего над ребёнком экспериментировать! Микстуру можете пить сами!"

До полусмерти напуганные, согласились на уколы. Но решили их делать дома. Ты бегал по городу, доставал дефицитные, безумно дорогие ампулы. Колоть крошечную Ксюшкину попку пришла медсестра Марина из поликлиники. “Вы что, с ума сошли? Мы эти препараты колем децепешникам. А у вас здоровый ребёнок!”

Ксюша выдержала четыре укола. После них она кричала “на разрыв аорты”. Кричала так, что казалось: ничего уже в нашей жизни, кроме этого крика, не будет… В панике звоним суровой женщине из научного центра. “Ну, и что, что кричит? Что? сколько часов кряду? Ну, покричит, привыкнет, перестанет”.

“Марина, мы решили больше не колоть”. – “Ну, слава Богу, одумались!”

Специалист из Венгрии. “Этому ребёнку, ничего, кроме физкультуры, не нужно. Уколы? – бред! Микстура? – а,

собственно, говоря, зачем?”

А потом пришёл доктор Чирков. Мы его нашли интуитивно: обзвонив дюжину медицинских кооперативов. Он вошёл, спокойный, неторопливый, улыбчивый, – и я сразу поняла: он пришёл не просто по вызову – он пришёл К НАМ. И уже через несколько минут я увидела, что он любит нашу девочку! Не вообще детей – а нашего конкретного ребёнка. Он мгновенно на неё настроился. Он разговаривал с ней, как может разговаривать с ребёнком только очень близкий к нему человек. Он радовался Ксюше и никуда от неё не спешил. “И такую чудесную девчонку хотели колоть? Злодеи, вороги!”

Он исписал нашими жалобами несколько страниц… Нет, он не обещал, что уже завтра нам станет легче: что у Ксюни прекратятся головные боли, и она станет спать, и не будет вздрагивать и заходиться в плаче от малейшего шороха. Такой райской жизни в обозримом будущем Вячеслав Фёдорович нам не обещал. Но он как-то удивительно ободрил нас своим появлением в нашей жизни. “У вас очень сложный ребёнок. Набирайтесь терпения. Вам долго будет трудно”.

С жаром кинулись мы исполнять все предписания доктора Чиркова. А это, кроме всего прочего, означало: девять раз в день дать Ксюше лекарство. Так что теперь наше волшебное колесо завертелось ещё стремительнее: кормление-пеленание-лекарство-пеленание-лекарство-кормление-лекарство-гуляние-лекарство…

И так далее – с раннего утра и до глубокой ночи.

Нет, наша девочка не стала меньше плакать. Но жить с надеждой, что когда-нибудь она будет плакать меньше, было уже легче…

И была массажистка Галина Ивановна. (Которую нам тоже прописал доктор Чирков). Её добрые, мягкие и сильные руки, её ласковое курлыканье над нашей таинственной девочкой…

И было долгожданное солнышко. (Ах, все наши дети зимние!)

…А с доктором Чирковым мы подружимся. И он станет забегать к нам не только по нашему вызову, но и просто – “Шёл мимо, не мог не зайти. Как тут Ксения?”

Вскоре Вячеслав Фёдорович перестанет брать деньги за визиты, маша на нас руками и добродушно улыбаясь: “Да ну, бросьте! Я прихожу просто пообщаться и поиграть с этой девчонкой”.

…И пройдёт много месяцев, прежде чем мы вместе с доктором Чирковым поймём: никакими лекарствами нашу переживательную девочку не вылечить. Потому что можно вылечить болезнь, но не натуру.

“У вас очень редкий ребёнок. Дети с такой возбудимой нервной системой, конечно, встречаются, но о-о-очень редко: ну, может быть, один на десять тысяч”. Это сказал ещё один специалист, доктор из детского невроцентра. И он тоже говорил о терпении, о терпении, о терпении – чтобы мы им запасались… “Но зато, посмотрите, какой умный, внимательный взгляд у вашей девочки!” – “О, мы видим!…” – “Вообще, она у вас очень загадочная”. – “Мы знаем”.

Годовалая (уже к тому времени) Ксюша посмотрит на нас и таинственно, и лукаво улыбнётся…

Наша Ксюша – ЗАГАДКА. Загадка на каждый день. И даже на каждый час. И даже на каждую минуту… Мы знаем о нашей девочке уже очень много, но ещё больше – не знаем. И мне кажется, что так будет всегда. Ксюша растёт – и её загадка растёт вместе с ней.

Может быть… когда-нибудь… что-то прояснится – когда Ксюша начнёт писать стихи. Или музыку…

А пока – мы стараемся понять то, что в наших силах. И помочь – насколько это возможно. “У вас ребёнок не просто редкий, а ОСОБЫЙ”, – скажет доктор Чирков после года общения с Ксенией. Ещё он скажет: “Я даже не уверен, что я должен её лечить. Что я имею право. Ведь если бы всех гениальных и талантливых людей в своё время вылечили, – то они не стали бы тем, кем они стали”. Мы в задумчивости посмотрим на Ксюню (в ту минуту мирно посапывающую в коляске на лоджии) и скажем друг другу: “Мы *не лечим*. Мы только *помогаем*”.

Но этот разговор – ещё впереди. А пока нам только три месяца, и нам очень хочется, чтобы нашей девочке жилось полегче, и чтобы она хоть немного поменьше плакала…

Плакать ей нельзя. Плакать так отчаянно, как плачет она, ей нельзя. “Предсудорожное состояние”, “судорожная готовность,” – об этом говорили все приходящие к нам доктора.

А это очень страшно.

ВОПЛЬ ДУШИ:

– Хочу к Александру Яковлевичу!
– Ну, так поезжай! – говоришь ты. – Хоть в это воскресение.

НАШ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Уже трудно это представить, но когда-то мы были не знакомы. С нашим дорогим Александром Яковлевичем.

Мы познакомились семь лет назад.

А произошло это так:

В один прекрасный день я получила письмо от читателя. Это был действительно прекрасный день. Потому что первая книга моих стихов “Лунные цирки” уже давным-давно разошлась, а это письмо от читателя – было первым и единственным. Коротенькое письмо бисерным почерком. По-юношески пылкое и восторженное. Незнакомый читатель по имени Александр Яковлевич горячо просил выслать ему (если у меня таковой имеется в запасе) экземпляр “Лунных цирков”. Он писал, что прочёл мою книгу у приятелей, и сразу же кинулся по магазинам, оббежал даже букинистические, но нигде её не нашёл. Фамилия Александра Яковлевича показалась мне знакомой. Я подумала: если ему так понравились стихи о цирке, – значит, он имеет к цирку какое-то отношение.

Открыла Цирковую Энциклопедию – и, действительно, сразу увидела его фамилию: на первой же странице. Александр Яковлевич был одним из её составителей.

Нашла и статью о нём самом, совсем коротенькую.

И… не поверила своим глазам. “Театровед, цирковед, историк цирка… Родился в 1893 году.” Не может быть!

Я перечитала ещё раз его молодое энергичное письмо и решила: наверное, однофамилец. Или внук. Но вряд ли человек в 92 года способен так вибрировать на стихи и бегать по магазинам в поисках книги малоизвестного автора.

Книгу ему я выслала. Потом позвонила. Он был в восторге! Горячо благодарил. Звал в гости: у него очень много книг, посвящённых цирку, мне будет интересно.

И мы с Антоном отправились к нему в гости. Но до последней минуты так и не знали, к кому же мы едем: к однофамильцу, или к внуку знаменитого Шнеера? Спросить его по телефону: “Вы тот самый?” – мне было неудобно.

…Двери нам открыл невысокий и худощавый, как подросток, с выразительным горбоносым профилем и с ироничным прищуром пронзительных голубых глаз… Александр Яковлевич Шнеер. Тот самый! Родившийся в 1893 году…

Мы вошли в его темноватую узкую комнату, на первом этаже низко сидящей пятиэтажки, с небольшим окном, выходящим

прямо к хлопающей подъездной двери. В комнату, плотно, до самого потолка забитую книгами. Цирк, театр, эстрада, поэзия…

Из-за шкафов торчали рулоны старых афиш. В самом дальнем от окна углу громоздилась гигантская картотека. Рабочий кабинет неутомимого труженика. Сказочное обиталище удивительного человека, который смеётся в лицо своему возрасту.

Я полюбила его с первого взгляда. Как это случается, когда встретишь в этой жизни родную душу…

О чём не смогла рассказать маленькая статья в энциклопедии? Она не сказала о самом главном. О том, что Александр Яковлевич – не обычный искусствовед. Он – рыцарь! Возвышенный и пылкий. По-рыцарски преданный предмету своей любви – Искусству.

Никто мне не рассказывал о цирке, о театре с таким жаром и с такой нежностью, как этот влюблённый.

Он в курсе всего. Он помнит тысячи имён. Кажется, что он просто не умеет забывать. Бывают, оказывается, люди и с таким вот потрясающим неумением. Спроси его о каком-нибудь неизвестном писателе двадцатых годов, и он тут же живо отзовётся: “Сигизмунд Кржижановский? Конечно, помню! В 28-м ходил на его лекции. Потрясающий эрудит был. Никакими шпаргалками никогда не пользовался”.

Спроси его о каком-нибудь провинциальном актёре начала двадцатого века – Александр Яковлевич, не заглядывая ни в какие справочники, расскажет: в каких театрах и в каких спектаклях тот играл. И ещё массу потрясающих подробностей, которых в энциклопедиях не найдёшь. Александр Яковлевич – самая лучшая на свете энциклопедия: живая, смеющаяся голубыми глазами, ироничная и озорная.

Он придумал такой жанр: история пьесы. И воплотил его в Театральной энциклопедии. Открываю, к примеру, статью “Гамлет” – и узнаю ВСЕ: где, когда и в каких театрах МИРА ставилась эта пьеса; я узнаю имена всех-всех режиссёров, ставивших когда-либо эту пьесу; узнаю имена всех-всех актёров, когда-либо в этой пьесе игравших… Ну, не фантастика ли?

– Александр Яковлевич, как это возможно???

Он скромно пожимает плечами: мол, ничего особенного…

Он и сейчас пишет книгу: огромный труд по истории цирка.

Пишет уже много лет. Просыпается в шесть утра, садится за свой письменный стол у окна и пишет “вручную”: своим бисерным почерком…

Пишет без спешки и суеты.

– Если хочешь написать хорошую книгу, не надо торопиться, – любит повторять Александр Яковлевич.

Эта фраза, когда я услышала её впервые – в первую нашу встречу – потрясла меня. “Боже мой, так кому из нас 34, а кому 92?” – подумала я тогда.

Сама же я до того дня всегда спешила, всегда торопилась… Считала, что творческому человеку по-другому никак и нельзя. Но эта вечная боязнь – чего-то не успеть – как дракон, пожирала не только силы и нервы, но порой и само ОЩУЩЕНИЕ ЖИЗНИ.

“Если хочешь написать хорошую книгу, не надо торопиться,” – сказал мне 92-летний, не ведающий спешки и суеты, Александр Яковлевич Шнеер.

И от этой негромкой фразы в моём мироощущении как будто открылся какой-то новый канал. Словно я услышала голос самой вечности. И она сама остро взглянула на меня голубым внимательным взглядом, полным непостижимого для меня спокойствия…

Нет, не скажу, что с того дня я СОВЕРШЕННО вылечилась от боязни не успеть. Но теперь, когда я начинаю торопиться, нервничать и причитать: “Ничего, ничего не успеваю!” – я слышу голос моего дорогого друга, который мягко напоминает мне: “Если хочешь прожить хорошую жизнь, не надо торопиться”.

…А потом настал черёд Гавра и наших детей – быть очарованными Александром Яковлевичем.

Мы приезжаем к нему то вместе, то порознь, в любом составе. С каждым из нас у него совершенно особые отношения.

Мы обожаем слушать его рассказы. О том, как он учился в Швейцарии, в Бернском университете – когда-то ужасно давно: когда моя бабушка была ещё ребёнком. А Александр Яковлевич уже учился в Бернском университете! Но он рассказывает об этом так, словно это было совсем недавно.

А потом, в двадцатые годы, когда Александр Яковлевич писал букварь для красноармейцев, он придумал такую фразу:

“Мы не рабы, рабы не мы”.

Да, да, её придумал Александр Яковлевич!

– Погорячился… – с горьким сарказмом говорит теперь он. – Опрометчивая была фраза.

Но самый потрясающий из его рассказов – о том, как он ездил в Америку. В девятьсот одиннадцатом году восемнадцатилетним юношей. С тринадцатью рублями в кармане. Рассказ о том, как объездил Америку на трамваях, как работал на галстучной фабрике и ночным разносчиком газет… И о первой любви – к

русской, умирающей от туберкулёза, девушке…

Он не смог там остаться – в прекрасной цветущей Америке. Хотя тётушка, к которой он туда приехал погостить, его уговаривала. Он мог бы там поступить в университет, его ждало блестящее обеспеченное будущее… Но он заболел ностальгией.

Его душа рвалась в Россию – в ту Россию, которая в начале двадцатого века для всего мира была средоточием духовности. Практичная, рациональная Америка была Саше Шнееру чужда.

И он вернулся.

И до сих пор не может себе этого простить.

– Ужасная с моей стороны была глупость. Если б я тогда знал, что нас тут ждёт!…

…Александр Яковлевич неутомимо пишет свою книгу, она почти готова, но издательство до сих пор не заключило с ним договор, и не торопится поставить её в план.

На днях он опять ездил в издательство, и вернулся страшно расстроенный и мрачный. Впервые я видела его в таком состоянии.

– Александр Яковлевич, ну что они сказали?

– Сказали: надо ждать. Сколько ждать? Я не знаю. Да разве в этой стране кто-нибудь это знает? Нет, не понимаю, зачем я вернулся…

А скоро Александр Яковлевич приедет к нам в гости, чтобы познакомиться с Ксюшей! Познакомиться и непременно подружиться. Он полагает, что 97 лет разницы в возрасте – не помеха для дружбы. И он совершенно прав!

…Когда мне был всего год от роду, Александру Яковлевичу было пятьдесят семь. И кто б мог подумать, что мы с ним, он и я – люди разных эпох и разных поколений – предназначены друг другу для нежной, задушевной дружбы? Что пройдёт три с небольшим десятка лет – и мы будем понимать друг друга с полуслова. О чём бы мы ни говорили: о цирке, о поэзии, о детях, или о нашем дурацком совке…

И только в одном вопросе нет у нас с ним единомыслия. Я, в отличие от Александра Яковлевича, верю, что и в другой жизни, и в иных измерениях мы найдём и узнаем друг друга. Я в это верю. А он почему-то сомневается…

Я смотрю в смеющиеся, сверкающие острым умом, голубые глаза Александра Яковлевича, и очень, очень хочу, чтобы он так же, как я, поверил в НЕРАЗЛУКУ.

– Я приглашаю вас на своё столетие! – торжественно говорит

он. – Так что, пожалуйста, не назначайте на этот день никаких дел.

– Ну, разумеется, – говорю я. – Ни-ка-ких!

– Вы придёте?

– Непременно! 25 декабря 1993-го года я у вас.

– Прекрасно! Посмотрим на столетнего человека. Любопытно, не правда ли?

Мы дружим уже семь лет. Александр Яковлевич – мой первый и самый внимательный читатель. Его мнение для меня – важнее и интереснее всех критиков мира. (Если бы таковые вдруг решили обсуждать мои книги!)

И когда я начинаю новую книгу, я всегда думаю: “Что о ней скажет мой любимый друг Александр Яковлевич Шнеер?”

* * *

– Как же давно Вас не было! – воскликнул он, протягивая мне навстречу руки. – Я так соскучился!

Его рукопожатие крепкое и горячее.

– Я и сама ужасно соскучилась! Вы – первый, к кому я выбралась после рождения Ксюши.

Я опять в этой узкой, темноватой комнате, забитой книгами и афишами, а на маленьком диванчике напротив меня – сидит мой дорогой друг Александр Яковлевич.

Несколько минут мы просто смотрим друг на друга. И тихо радуемся.

– Нет, нельзя так долго не бывать, – говорит он с лёгким укором. – Я уж думал: Вы меня разлюбили…

– Александр Яковлевич! Я?! Вас?! Как это возможно? Я вообще не умею разлюбливать.

– Значит, мы с Вами похожи. И в этом тоже, – с удовлетворением говорит он. – Я тоже не умею разлюбливать. Уж если кого полюблю – так на всю жизнь. Ну, простите меня, что я мог подумать такую глупость. Прощаете?

– С радостью!

– А теперь рассказывайте о своей красавице. Она ведь у вас красавица?

– Она прекрасна!

– Я не сомневался в этом.

– А ещё она клоун! Клоун и трагик одновременно.

– Настоящий клоун всегда трагик, – говорит Александр Яковлевич.

Я протягиваю ему фотографию двухмесячной Ксении.

Сняв очки, он долго и внимательно вглядывается…

– Поразительно! – говорит он. – Взгляд совершенно взрослого человека. Да не просто взрослого, а глубоко и напряжённо думающего… Уже личность! Неужели всего два месяца? Поразительно… Познакомьте меня скорее с вашей дочерью! Я хочу с ней общаться.

– Александр Яковлевич, мы ждём Вас в любой день!

НА ОСТАНОВКЕ В БУСИНОВО

Наклеив на стену окраинной многоэтажки последнее объявление об обмене (двух маленьких квартир на одну побольше), я пошла к остановке.

Дул ветер. Было по-мартовски серо и сыро. И дождик какой-то мерзкий накрапывал… А автобус куда-то запропастился.

Моя третья отлучка из дома за два месяца. Первая – с Антоном в лес, это – ещё в декабре, когда Иксику было две недели. Вторая – к Александру Яковлевичу, это – в январе. И вот – март.

“Тебе нужно обязательно выбираться из дому. Хоть изредка! Развеяться. Вкусить новых впечатлений. Это необходимо и тебе, и – через тебя – Ксюше”, – говорит Гавр.

И вот я стою на остановке в Бусиново. Мрачно, холодно.

Под навес остановки входит молодая женщина с ребёнком на руках. Толстощёкому, курносому мальчику, удивительно похожему на мать, года полтора. В руках у малыша сверкающий игрушечный автомат. Мать ставит его на деревянную скамью: “Стой, Вася”. Вася смотрит перед собой тускло-серыми, навыкате, глазами. Взгляд неповоротливый и безразличный, как у всех перекормленных детей. Мать смотрит на Васю с гордостью и удовлетворением.

Вслед за женщиной топает другой мальчуган, лет трёх, тоже её, но ни одной черточкой на мать и брата не похожий. Худенький, востроносый, быстроглазый.

Автобуса нет.

Толстощёкий Вася солидно дышит на скамье. Ожидание не утомляет и не раздражает его. А быстроглазый мальчуган уже через минуту начинает томиться. Он выскакивает из-под навеса и исчезает из виду. “Максим! Максим!” – зовёт мать.

Вскоре он появляется. Сапожки в грязи. Глаза горят восторгом.

– Мама, мама! Тлавка! Там тлавка! Зелёёнькая!…

Схватив мать за руку, он пытается её тащить туда, где им сделано потрясающее открытие – травка!

Но мать стоит неподвижно, как скала, и мальчуган напрасно бьётся об эту скалу. Она даже не смотрит на сына. Так же, как толстощёкий Вася, она смотрит в пустоту бесцветными, навыкате, глазами.

Устав об неё биться, мальчуган опять исчезает. И вновь несётся ему вслед угрожающее: “Максим!!”

И – вновь:

– Мама, тлавка! Там тлавка!

О, как ему хочется, чтобы она разделила его радость.

– Стой здесь! – приказывает мать.

Не смея ослушаться, мальчик остаётся под навесом. Но радость открытия распирает его, и он то и дело дёргает мать за рукав: “Тлавка, мама! Зелёёнькая!”

– Отстань!

Тогда, непонятый, но всё ещё радостный, он хватается за поручень, которым опоясана остановка, и, повиснув на нём, начинает колотить ногой о металлическую стену.

– Прекрати хулиганить! – в голосе матери – шипучее раздражение.

Он продолжает колотить. Его худенькое задорное личико возбуждено.

– Вася! Стрельни в него, Вася!

Но вооруженный Вася ещё плохо владеет оружием.

И тогда мать, схватив руку малыша, направляет её вместе с автоматным дулом в старшего сына: – Тра-та-та! Тра-та-та! Вот так, Вася! Стреляй в него! Убей его, Вася!…

“УБЕЙ ЕГО, ВАСЯ!” – ещё долго звучало у меня в ушах.

Ехала домой и боялась смотреть по сторонам. Чудилось: мир наполнен выросшими васями…

* * *

Прошлое лето… Это было последнее лето, сынок, когда ты носил свою детскую чёлку.

Я ХОЧУ НАПИСАТЬ ТЕБЕ ПИСЬМО

– Старею… – сказал мой мальчик в утро, когда ему исполнилось четырнадцать.

Я хочу написать тебе письмо. О детстве.

О том, как трудно тебе вырастать из детства. И о том, что вовсе не обязательно прощаться при этом с ДЕТСТВОМ. О том, что Детство – категория не столько возрастная, сколько нравственная. Это то, что ты обрёл НАВСЕГДА.

“ОНА УЖЕ ЧИТАЕТ ЗА ЕДОЙ!”

Обязательно записать в дневничок:

Про то, как Ксюнчик впитывает всё в себя: карту полушарий, висящую над её кроваткой, наши лица, узор ковра, огоньки…

Сижу на Антошином диванчике и кормлю её. Старательное чмоканье. Взгляд, в начале сосредоточенный на объекте насыщения, по мере насыщения утрачивает свою деловитую углублённость, и я замечаю, что она смотрит куда-то выше моего плеча. Смотрит с интересом (продолжая сосать). Взгляд скользит, перебегает и даже словно бы оценивает. Я оглядываюсь. – Ксюша читает газету! Антошину газету, которая висит над его диванчиком.

“А ГДЕ КСЮША ТОГДА БЫЛА?”

“А где Ксюша тогда была?”- спрашиваем мы друг друга, когда речь заходит о Крыме, куда мы ездили три года назад, или о Прибалтике, по которой мы путешествовали позапрошлым летом…

Уже невозможно представить: что нашей Ксюши когда-то с нами не было. Как это? А где же она тогда была?…

* * *

– И всё-таки ужасно приятно: получать журнал, раскрывать его и читать мамину повесть о твоём детстве… – говоришь ты Антону.

* * *

– Ну, как прошёл день?

– Трудно. Антоша весь вечер проплакал. Прямо обрыдался весь…

– А что случилось? – испуганно спрашиваешь ты.

– Как обычно: головка, животик…

На твоём лице недоумение:

– Так кто плакал: Антоша или Ксюша?

* * *

И во все долгие вечера, долгие-долгие вечера первой Ксюшиной зимы и её первой весны, долгие вечера, когда папочка на работе, а Ксюня исходит слезами… рядом со мной – мой мальчик, мой чудесный друг. Он хлопочет на кухне, готовит ужин, перемывает горы посуды, отвечает на телефонные звонки (“Мама не может, позвоните утром”), метёт полы, кипятит воду для Ксюшиного купания, и то и дело заглядывает в комнату: “Что

ещё сделать, мамася?” “Мамася” – так он меня называет с раннего детства. Так и осталось это ласковое – мамася. Подойдёт, сочувственно посмотрит на взмокшую от крика сестру: “Как будто из ванны ты её вытащила. Бедная… А она не голодная?… И что, опять не сосёт? А молочко у тебя есть? Откуда ж ему быть, когда ты так психуешь?… А из склянки она не ест, ну, из бутылочки этой? Ишь, как она к тебе пристрастилась! А я из склянки ел? Вот, я был сознательный! Ксюнька, когда будешь проявлять сознательность?” Он улыбается, он умеет оставаться спокойным, он мужчина. Без него я бы сошла в эти вечера с ума… Ходит, ходит вокруг нас кругами, лучась нежностью, то по голове меня погладит, то по плечу, приговаривает магическое: “Всё будет хорошо, мамася! Вот увидишь – всё будет хорошо! Когда? Не знаю… Может быть – завтра. Всё будет хорошо!”

ЧТО ВЫ МНЕ ПОСОВЕТУЕТЕ?

Глава четвертая

Позвонила редакторша из издательства. Она прочла мою повесть об Антошином детстве. Отрывки из которой напечатал журнал. Повесть ей понравилась. Даже более того – редакторша от неё в восторге. Более того – она вообще ничего подобного в своей редакторской жизни не читала! Более того – она, редакторша, страстно хочет со мной познакомиться и выразить лично свою благодарность. И просто поглядеть на меня – такого замечательного автора.

И при этом:

– Нет-нет, мы не можем напечатать вашу повесть. Она не по нашей тематике.

– Как?! – изумляюсь я.- Повесть о детстве не по тематике детского издательства?

– Нет-нет! Мы такого не печатаем. Вот если бы это было смешно…

– В каком смысле смешно? – не понимаю я.

– Ну, если бы вы написали коротенькие смешные рассказики, мы бы их с удовольствием напечатали. Может быть. Такие, совсем коротенькие и смешные. Для малышей.

– Но… я работаю в другом жанре.

– Ну, и что?

– Я не пишу для малышей. Я пишу для взрослых о Детстве. Неужели это не понятно?

– Почему не понятно? Но вы возьмите и напишите. Смешные и коротенькие. А ваша повесть очень хорошая, просто замечательная!

* * *

“Дорогой Петр Яковлевич!

Большое спасибо Вам за тёплые слова, которыми Вы предварили мою повесть в журнале. Спасибо, что помогли выйти ей – хотя бы в таком виде. Но уж очень велики сокращения и потери смысла; это даже не отрывки, а какие-то огрызки… А в

издательстве, куда я отнесла повесть по Вашему совету, мне отказали. Хотя повесть понравилась. Но они “такого” не печатают. Предложили мне переключиться на писание маленьких смешных рассказиков для малышей. Вот уж нелепость! Принёс человек симфонию, а ему говорят: всё хорошо, только лучше бы вы писали эстрадные песенки… Последняя фраза предисловия, где Вы, Петр Яковлевич, желаете мне выйти на широкую литературную дорогу, заставила меня грустно улыбнуться. Наверное, лет 20-25 назад, когда я была начинающим автором, такое напутствие окрылило бы меня. Но сейчас…

Ведь мне почти сорок. И у меня в столе – десять поэтических книг и четыре книги прозы. Много лет я безуспешно стучусь в глухие стены редакций и издательств. Итог: крошечный сборник стихов и повесть о цирке всё же были напечатаны (да вот теперь, с Вашей помощью, эти отрывки). Но случайные эти удачи не избавили от горького ощущения, что я двадцать лет пытаюсь говорить с завязанным ртом… Всю жизнь старалась идти *своей* дорогой, с ужасом оглядываясь на *широкую*, по которой валит толпа с хорошо развитыми локтями и зубами…"

– Мама, Ксюша плачет!

* * *

“Никто не видал? Тут письмо где-то валялось, черновик, Петру Яковлевичу…” – “Не видали”. – “Придётся заново писать…”

“Дорогой Петр Яковлевич!

Закончилась публикация глав моей повести. Спасибо, что помогли. Спасибо за доброе предисловие. Хотя последняя фраза вызвала у меня горькую улыбку…"

– Мама, Ксюша плачет!

– Бегу!

“…Увы, Пётр Яковлевич, но с приходом так называемой гласности лично для меня ничего не изменилось. Если раньше мои книги не издавали потому, что в них *мало* оптимизма и нет производственной тематики, то теперь – потому что в них *много* оптимизма и отсутствует то, на что сегодня конъюктурщики делают ставку: нет сталинских лагерей и проституток.

Да, я пишу о другом. Я пишу о любви. Я почему-то убеждена (хотя, может быть, это моё глубокое заблуждение?), что мои книги нужны бедному советскому человеку, который и забыл уже, на чём держится мир… А держится-то он на любви!

Написала новую повесть. Хотелось бы, чтобы Вы её прочли, но не решилась послать без Вашего на то согласия.

А куда нести “Наши зимы…” – не знаю. И что Вы мне посоветуете теперь?…"

ЗВОНОК ДОКТОРА

– Ну как ты, Нуш?

– Потихоньку вымираю…

– Вот-те на! Отчего вымираешь-то?

– От счастья, само собой.

– Постой-постой, что у вас случилось?

– Ничего, Коленька. Обычная жизнь: газики, головные боли, Ксюшины и мои, четыре месяца без сна…

– Но ты же этого хотела.

– Да. Только сил оказалось мало… Даже четырнадцать лет назад, когда была с Антоном одна, и работала, и училась, мне было легче, чем сейчас. Всё-таки молодость – великая вещь! А сейчас… Мне кажется, я не выдержу.

– Выдержишь, куда ты денешься.

– На ребят своих по пустякам обижаться стала. Постоянно в таком диком напряжении!… Нет сил, нет больше сил…

– Ну вот, заладила… Спать больше надо, чтоб они были.

– Но ведь это невозможно, Коля!

– Пусть Гавр встаёт к Ксюне по ночам.

– Я не могу ему этого позволить. Ведь он на работу ходит! Он так не выдержит. Ему надо высыпаться. Хоть чуть-чуть…

– А тебе?

Я молчу.

– Нуш, ты что там, ревёшь, что ли?… Кончай. Слышишь? Кончай. Все через этот период проходят: когда кажется, что сил больше нет.

Я молчу.

– Послушай, а ты сейчас пишешь что-нибудь? – спрашивает он.

– Ты что, Коля, издеваешься?! Когда мне писать?! КОГДА??? Я едва дневничок Ксюшин успеваю вести…

– А по-моему, тебе всё равно надо писать. Уж не знаю, когда, но – надо. Иначе ты действительно не выдержишь этого напряжения. Тебе, чтобы выдержать, нужно СВЕРХнапряжение!

– Коля, ты мне это как доктор советуешь, что ли?

– И как доктор тоже.

Я даже на него обиделась. Человек устал до смерти – а вместо сочувствия ему желают сверхнапряжения!

Два дня пообижалась, а потом…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Ты знаешь, милый, а я сегодня новую книгу начала…

– ЧТО?

Пауза.

– Неужели правда?

– Правда.

– Когда же ты ухитрилась поработать?

– Когда Ксюнечка на лоджии спала. Полчаса укачивала её, а потом, в те двадцать минут, что она спала, посидела за компьютером.

– Ну и ну! А говорила: три года ни строчки не напишешь. Ой, как я рад! Ты даже не представляешь, как я рад. А про что книга?

– Всё про то же. Про деток. Про нашу жизнь. Ни о чём другом писать не хочется…

Помолчали.

– Между прочим, я даже название уже придумала. Сказать?

– Скажи.

– “Эй, там, на летающей соске!”

– Ух ты, здорово!… Хотя и непонятно.

– Это тебе-то непонятно?

Мы смеёмся.

А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ…

А на следующий день ты придумал отличную штуку. Простую, как всё гениальное. К коляске, стоящей на лоджии, ты привязал верёвку. Так, чтобы, пропущенная в дверную щель, она дотягивалась до письменного стола.

Теперь я работаю с комфортом! Сижу за компьютером и одной рукой, вернее даже – одним пальцем – настукиваю по бесшумным клавишам, а другой рукой – укачиваю Ксюню. За верёвочку. Ещё холодно, в щель дует, порой со снегом, и я сижу за компьютером в пальто.

Коротенькие минуты блаженного сверхнапряжения…

Отличная штука – этот электронный ящик. Когда-то (когда ты только притащил его с работы) я против него бунтовала. Да, я поклонница старины: уж если не гусиного пера, то, по крайней мере, пишущей машинки.

Так было раньше.

А теперь – наслаждаюсь: не надо двигать коретку, прилагать к этому свои последние физические силы, не надо отбивать о клавиши пальцы. Но главное – ТИХО! Можно и ночью потюкать, и никого не разбудишь. Дружище Роботрончик, чтобы я без тебя делала?

…А тексты у меня получаются смешные. Только Ксюня проснулась, заплакала – я тут же, мгновенно, прерываюсь: на полуфразе, иногда – на полусло…

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ

Глава пятая

Точнее: интервью, которое у меня никто не брал.

Небольшая пачка писем. От моих дорогих читателей… Один из них высказывает очень лестное для меня предложение: “Хорошо бы взять у писательницы Романушко интервью. Интересно поближе узнать этого автора”. Предложение адресовано редакции журнала, который опубликовал отрывки из моей повести об Антоне.

Редакция переслала мне это письмо. Но на предложение заинтересованного читателя никак не отреагировала.

Антон: “Позвони в редакцию и скажи: возьмите у меня интервью!”

Мы смеёмся.

“А что ты будешь делать с письмами?” – Положу в ящик письменного стола и изредка буду перечитывать. В минуты тягостных сомнений… – “А почему не ответишь? Ты же хотела”, – говорит Антон.

Хотела… Только слишком памятны ещё прежние мои опыты переписки с читателями. И все (кроме ОДНОГО!) закончились грустно. Для моих адресатов – разочарованием и раздражением, а для меня – ощущением вины. Хотя и не была я, вроде, перед ними ни в чём виновата…

“Тогда почему?” – спрашивает Антон.

Почему?…

Первый мой адресат написал мне из заключения.

“Ого!”

Молодой парень, любитель поэзии. Прочёл в журнале мои стихи и написал музыку. Вместе с письмом прислал ноты.

“И хороша была музыка?”

Так себе… Но не в этом дело. А в том, что человеку *там* захотелось писать музыку!

“И ты ему ответила?”

Конечно же! А как можно было не ответить? И – точно дамбу прорвало! Письма из хабаровского края пошли бурным потоком… Отвечала на каждое. Конечно, я наивный человек, и скоро я это поняла. Через пару месяцев в очередном письме прозвучала категорическая просьба, требование: немедленно приехать на свидание!

“Ну и ну! И что же?” – Антон заинтересовывается всё больше.

Ну и что, что ребёнок? – недоумевал мой адресат. – Можно приехать с ребёнком! Ну и что, что далеко? – на самолёте это совсем быстро! Ну и что, что я ему никто? – это мелочи, можно что-нибудь придумать, и свидание непременно разрешат! Да простит меня Бог, но я не подхватила тебя, годовалого, под мышку, не стала влезать в долги, чтобы купить билет на край света и не полетела за тридевять земель навещать юного Раскольникова. (А это был именно тот случай. Но, в отличие от Раскольникова, этот парень ни о чём не сожалел…)

О, сколько упрёков и обвинений вылилось на мою голову!… Конечно, мне было его ужасно жалко. Но не могла же я посвятить жизнь этому человеку! А на меньшее он был не согласен.

И тогда он написал, что лучше бы я ему и вовсе не отвечала. Что теперь ему гораздо хуже, чем было до моих писем…

Второй, не менее драматичный случай:

Писала молоденькая девушка. (Это уже в ответ на повесть о цирке). Нет, писала не из заключения – а из одиночества. Из ЗЛОключения.

Ужасная судьба: безотцовщина, самоубийство матери… Из родного города уехала – куда подальше от *того* злосчастного дома. Но успокоения в этом “подальше” не нашла.

Повесть моя что-то высветила для неё в этой жизни.

Конечно, я опять ответила. И – опять поток писем в ответ.

Одно толще другого, одно горше другого… Отвечать на каждое было просто физически невозможно: это означало бы писать этой девочке дни и ночи напролёт… Но стоило задержаться с ответом, как тут же в наши двери стучался почтальон с телеграммой: “Обеспокоена молчанием. Телеграфируйте, что случилось? Волнуюсь”.

Она просила, умоляла, требовала, чтобы я написала: что она может для меня сделать? Ей хотелось видеть меня слабой, беззащитной, беспомощной – не могущей прожить без неё ни дня. И чтобы *она* была моей спасительницей. И чтобы я, как заводная, бегала к почтовому ящику…

Это был такой сокрушительный напор – любви, отчаянья и эгоизма, что после каждого её письма я ходила больная. В конце концов не выдержал Гавр. “Давай я напишу ей”, – сказал он.

Письмо его было сама мягкость и деликатность, только Гавр способен писать такие письма. Он попытался объяснить девочке (ну, не совсем девочке, конечно, ей было около двадцати), что у меня семья и очень много работы, и я не могу писать ей так часто, как она того требует.

И опять я держала в руках письмо, полное самых отчаянных укоризн… В существование мужа она… не поверила! С гневом она вопрошала: как я могла опуститься до того, что *придумала* себе мужа?! Неужели только лишь для того, чтобы отвязаться от неё?!.

То, что у меня есть *своя жизнь*, – этого она мне простить не смогла. И опять я услышала: “Лучше бы вовсе не отвечали!”

И так каждый раз. Да это и понятно: коль протянул человеку соломинку, – давай, тащи! Они же все безумно одиноки. На девяносто процентов это несчастные и одинокие люди – те, что пишут в редакции и писателям. Писатель для них вроде исповедника, врача скорой помощи, пожарника и спасателя на водах. И – непременно! – оракул, вещатель истины. И уж коль это сверхсущество ответило на твоё письмо, попалось на крючок, – от него, как от золотой рыбки, начинают требовать всё большего, большего и, наконец, – невозможного: именно того, чего в итоге потребовали от золотой рыбки: “И чтобы ты у нас служила на посылках”. Писатель превращается в морального донора и, вместо того, чтобы писать книги, начинает перекачивать энергию в тех, кому помочь, увы, не в силах. Потому что для того, чтобы действительно помочь, надо было бы изменить действительность…

Единственное, что может сделать писатель для своих адресатов, – это написать хорошую книгу. И это будет письмом сразу всем, письмом на все времена.

“А в чём смысл интервью?” – спрашивает Антон.

В чём смысл интервью?…

Для кого – в чём. Для одного – отличный способ рекламы. Саморекламы. Для другого – возможность поучить публику уму-разуму. А для кого-то – потребность подумать о главных вопросах жизни и попытка найти на них ответы. Но для этого вовсе необязательно, чтобы к тебе прибегал репортер с блокнотиком или диктофоном. Это интервью, которое берёт у себя каждый думающий и, тем более, каждый пишущий человек. И я, конечно, тоже. Я этим почти постоянно занимаюсь. Но адресовано оно не публике… А – выше.

* * *

В одном из писем:

“Много работы в саду и в огороде, с детьми заниматься совершенно некогда…” – прочла в одном из писем как бы упрёк мне, мне – которой было когда. Мне, городской.

И не только от неё. И от подруг своих порой слышу: “Конечно, тебе хорошо, ты ведь со своим Антоном была дома”.

Я была дома. НЕ ходила на службу (кратковременную попытку можно не брать в счёт, хоть она и дорого обошлась нам). Да, была дома. Не ходила на службу и даже не копала огород, не доила коров, не убирала за свиньями. Мне было хорошо. Ночи напролёт за пишущей машинкой – хорошо. Не одну, не две – а девять лет…

Хожу и думаю, и вспоминаю, как мне было “легко”. Растить Антона одной и “не работать”. Никто о том не знает. Как было “легко”: учиться в институте, сдавать бесконечные экзамены и зачёты, писать по ночам рецензии на горы рукописей (эти рецензии и был наш хлеб), писать, присев на бортик песочницы (пока сынок строит замки), свои собственные книги, при этом – общаться со своим мальчиком, помня ежеминутно, что ничего не повторится, что каждая наша минутка – бесценна. И от этого быть счастливой. И на вопросы друзей и знакомых: “Ну, как дела?” – отвечать искренне: “Прекрасно!”

А то, что голова моя при этом забита мыслями: “Как нам прокормиться? и где достать дополнительную работу? потому что на этой платят жалкие копейки…” – зачем окружающим было об этом знать?

* * *

Это – вопросы из того же интервью:

Где я нахожу время сейчас? Мешает ли кухня творчеству? Устаю ли я от кухни?…

Между прочим, мытьё посуды и стирка – лучшее время для обдумывания: новой книги, очередной главы, разговора с сыном… Ещё хорошо думается: когда катишь коляску, когда кормишь, когда метёшь полы, когда пересаживаешь цветы, когда разгребаешь бумажные завалы на столе, когда пишешь письмо другу, когда пришиваешь пуговицу на рубашку мужа, когда сидишь перед сном на краешке постели сына и гладишь его по тёплым вихрам…

В общем-то, для главной работы – для думанья – у меня 24 часа в сутки. А записать можно как-нибудь ночью, когда

бессонница…

* * *

“Некоммерческая литература”. А кто-нибудь пробовал? Она бы в мгновение ока разошлась – моя книга.

Вот я какая самоуверенная!

* * *

Наверное, я смешной, наивный человек. Мне почему-то кажется, что литература должна быть не коммерческой – а духовной.

Наверное, я смешно выгляжу со стороны?

Слава Богу, мои дети надо мной не смеются. Но как я им объясню: почему? почему, почему, то, что я делаю, никому не нужно?

Вернее: почему оно никак не пробьётся к тем – кому нужно?

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

“*Они*! Они в нашей жизни неистребимы!”
“Это фантомы”, – успокаиваешь меня ты.
“Нет, *они* – это страшная реальность нашей жизни”.

* * *

Они уже печатают правду жизни.
Но – не правду вечности.
(До этого ещё далеко! Целая вечность?…)

* * *

Мне скажут: не самонадеянность ли претендовать на знание этой правды?

Так ведь не я её добывала. Не придумывала. Ведь было же сказано два тысячелетия назад: “Я ЕСМЬ ИСТИНА…”

И – чуть позже – уже другим: “БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ”.

* * *

Дольше всего лежат в ящиках, труднее всего пробиваются к читателю самые тихие книги.

* * *

Всех скандалистов уже напечатали. Эмигрантов напечатали.

А нас – тихих – по-прежнему нет.

Значит, мы – то есть, наши книги – представляем собой самую большую опасность для этой системы.

Нас боятся больше, нежели боялись диссидентов.

* * *

Кому я со своими книгами о любви представляю опасность?

Но, наверное, представляю. Если повсюду слышу: “Мы такого не печатаем”.

Это даже как-то возвышает в собственных глазах: то, что я никаким боком не вписываюсь в эту систему. Было бы скорее грустно, если бы я ей “подходила”. Этого ещё не хватало!

* * *

Настоящие вещи – не громкие. Тихие.

Что может быть тише, чем “я тебя люблю”? Но на нём держится мир. Мир настоящий.

“Я тебя люблю!” – и декорации театра абсурда рушатся, рассыпаются прахом…

Театр абсурда не приемлет настоящих слов.

* * *

“Нет, это не государство! Это – сумасшедший дом! Сюр какой-то!”

– восклицаем мы, разворачивая утренние газеты.

– Может, Ксюша поэтому и плачет, что родилась в сумасшедшем доме?

– Может, поэтому и смеётся?…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

“Уехать, что ли?…”

* * *

“Уехать, что ли?…”

Какого русского интеллигента не посещала эта мысль?

А за ней следует другая: “А кому мы *там* нужны? И – что мы *там* будем делать?…”

ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ

– Мамася, если сосчитать, в какие только страны ты не собиралась уехать, получится, наверное, стран двадцать пять. Не меньше! Ты каждый день собираешься куда-нибудь уехать. А не можешь переехать в соседний дом…

Это действительно так. Не могу.

Меня держит наш намоленный дом. Дом, который пятнадцать лет назад освещали четыре прекрасных священника – одновременно! Где крестили моего сына. Где крестили, совсем недавно, мою дочь. Где бывали: отец Александр Мень и отец Димитрий Дудко, и отец Сергий Хохлов, и мой замечательный крёстный – Кирилл Георгиевич Кнорре, и художник Валерий Каптерев здесь бывал, и поэт Людмила Фёдоровна Окназова, наша с Гавром волшебная крёстная. И невероятный Александр Яковлевич Шнеер на своём девяносто девятом году жизни посетил нас, и астрофизик Александр Самуилович Пресман здесь бывал, и зоолог-путешественник Владимир Сергеевич Залетакев… И ещё столько прекрасных и любимых людей осветили собой это небольшое, но такое ёмкое жизненное пространство!

Как я могу оставить наш дом, наш храм? Как я могу променять его на большую благоустроенную квартиру?

Можно ли променять храм на квартиру?

И где, в каких краях, будет у нас такой Дом?…

ГРЕМИТ ПОГРЕМУШКА, ГРЕМИТ ЭЛЕКТРИЧКА…

Глава шестая

СИНЯЯ РЫБА, РЫЖЕВОЛОСЫЙ ГИВИ И ДРУГИЕ

Синяя рыба. Она висела четырнадцать лет тому назад над Антошиной кроваткой… Теперь – над Ксюшиной.

Рыжеволосый Гиви – клоун-неваляшка, которого мы с тобой высмотрели в горном балкарском селении под Нальчиком: клоун красовался в тамошнем магазинчике, и мы, конечно, тут же его ухватили. Цирк – наша давняя, застарелая любовь. И хотя мы уже сто лет туда не ходим, но стоит мелькнуть где-нибудь клоунской философичной улыбке – на календарике ли, на значке, в журнале – и тут же внутренние вибрации. И – словно солёные, горькие, пьянящие брызги в лицо – из того времени, имя которому – Наша Юность…

…Рыжеволосый клоун несколько лет пылился в шкафу. И вдруг – его оттуда извлекли, его умыли, начистили его шляпу, выстирали посеревшее от пыли жабо, надраили пуговицы на круглом животе. И – отправили работать в манеж!

В манеже обитает глазастое певучее существо, которое ко всеобщему изумлению распевает песни следующего содержания: “Ги-и-ви-и”, “Гдля-а-ан”, “Ва-а-ап”, “Ги-и-иви”… После многократно исполненного “Ги-и-ви-и” родители глазастого существа радостно всплеснули руками и воскликнули: “Ну, наконец-то у нашего клоуна появилось имя! Гиви! Как мы раньше не могли догадаться, что это – Гиви!”

Рыжеволосый Гиви радуется такому удивительному повороту судьбы и мелодично звучит, неутомимо и кругло раскачиваясь, как толстый маятник, повинуясь малейшему движению крошечной руки Главного Запевалы.

Вскоре у Гиви появилась очаровательная, такая же кругленькая, как он сам, партнёрша. Она меньшей комплекции и, облачённая в оранжевое, прекрасно смотрится рядом с рыжеволосым клоуном, облачённым в синее. Она прибыла в манеж из Старого Чемодана и зовут её – Ещё-Антошина-Катя.

Гиви и Ещё-Антошина-Катя теперь распевают дуэтом… Дирижирует ими всё то же глазастое существо, предпочитающее при этом валяться в манеже на спине или на животе. Сценическое имя существа – Иксик, в миру – Ксюнечка. Дирижёр Иксик обладает своим, неповторимым, почерком: в отличие от всех других дирижёров мира, он управляет музыкантами не только руками, но и ногами, и даже головой! Дрыгая ногами, он колотит пяткой по Круглой Погремушке; дрыгая руками – по длинным

звенящим цепям, свешивающимся в манеж откуда-то из-под купола; вращая то влево, то вправо головой – заставляет резво раскачиваться стоящих вблизи его, дирижерских, щёк, Гиви и гивину партнёршу!

И всё это – непрестанно звенит и гремит, гремит и звенит – как орган, как семья музыкальных эксцентриков!…

И лишь короткие паузы случаются в этой симфонии – когда Иксик, в миру – Ксюнечка, восполняет утраченную энергию, припадая к маме. Или – предаётся сну. Но сон его – короче, намного короче, чем у всех других дирижёров мира!…

“ТАК ЗНАЧИТ, ВСЕ-ТАКИ ЦИРК?”

“Девочка-оркестр!” – скажет всякий, кто подойдёт к наполненному звоном манежу… “Так значит, всё-таки цирк?” – говорит папа.

ВЕСЁЛЫЕ ВТОРНИКИ

– Антончик, можешь позвать ребят. Если хочешь.
– Как? А Ксюша?
– Мы поживём на кухне. Или погуляем.

И опять, как прежде, раз в неделю, во вторник, к нашему Роботрончику стали слетаться твои школьные приятели: поиграть в игры.

Кстати, ты и сам, научившись программировать, их сочиняешь. И твои игры пользуются не меньшим успехом, чем американские.

Знакомые поражаются: однокомнатная теснота, грудной младенец, а тут ещё и мальчишки приходят! Как это возможно? – Очень просто. На самом деле всё очень просто, если любишь. Если понимаешь: сыну это необходимо – чувствовать себя радушным хозяином, расставлять перед компьютером стулья: “Серёжа, садись. Садись, Коля. Сейчас ещё Олег придёт. Смотрите: я тут одну штуку новую придумал…”

Сушки, сухарики, азартный мальчишеский хохот… гора курток и башмаков в прихожей… Гавр, как всегда, не сможет открыть двери, вечером, когда вернётся с работы: “Полна коробушка? Ну, у вас тут весело!…” – “Папочка, мы ещё немножко поиграем?” – нежный, ломкий басок сына. Нет, не вижу никаких причин, из-за которых твои приятели перестали бы приходить в наш дом.

“А как тут Ксюня?” – “Ксюня замечательно. По-моему, ей очень нравится обитать на Антошином диванчике. Все картинки на стене рассмотрела, все книги на полке. А уж как она эту ветку традисканции изучала!… Минут двадцать смотрела, не отрываясь, и всё думала, думала…”

Между прочим, мальчишки полгода, наверное, не догадывались о Ксюне. Так тихо и сосредоточенно мы с ней жили в дни мальчишеских набегов…

* * *

“А это пришёл наш братик, он принёс нам из лесу мать-и-мачеху… Милый, спасибо!”

Жёлтые пахучие солнышки из твоего леса… Из нашего леса.

Первый раз ты вдохнул его смоляные запахи в четыре месяца. В полтора года – ты спал среди сосен в гамаке, под шорох игл и беличьих хвостов…

Лес на окраине Москвы у кольцевой дороги. Кусок живого мира, с ручейками и овражками, с шершавостью сосновых стволов и красными кустами бузины… Много лет мы бродили в этом лесу вместе, вдвоём. В конце зимы мы ходили сюда смотреть на леденчиков. (Есть такие насекомые). Ранней весной ты обожал строить на ручье запруды. А всё лето до глубокой осени нашими кумирами были хвощи, мхи и папоротники. Под твоим нежным и пристальным вниманием находились все крупные и все малые плантации.

И муравейники! И осиные гнёзда!… Ах, Боже мой, сколько радости подарил нам лес! И сколько нашей любви впитал он в себя, в свои корни и кроны…

А потом ты его открыл как бы заново. Началась новая эпоха в твоей жизни – древолазанья. Все деревья в лесу распределились по категориям – по сложности залезания. У деревьев появились имена.

А главным делом твоей жизни стало: покорять деревья, оборудовать на них места обитания – “строить дома”, сооружать переходные мосты, качели и канатки…

А потом ты открыл в лесу железнодорожную платформу – Левобережную. И стал ездить на электричках. Пока всего лишь на один перегон – в ту или в другую сторону – “Посмотреть жизнь”, как говоришь ты. Это случается не каждый день, всё-таки ты пока ещё живёшь в лесу, в своей экологической нише. Но я чувствую, что в нашей жизни в очередной раз наступает новая эпоха…

Я ХОЧУ НАПИСАТЬ ТЕБЕ ПИСЬМО

– Ты очень огорчён?

– Да.

Разрушен твой новый дом на сосне. “Враги разрушили”, – говоришь ты. И никак не хочешь, не можешь согласиться с тем, что это был ветер. Или… твои приятели заходили в твой дом в твоё отсутствие. И не рушили его, а просто весело пожили в нём.

Я хочу написать тебе письмо. Чтобы этот разговор не забылся. Об испытаниях, посылаемых каждому. Чем сильнее человек – тем больше испытаний. Как говорит наш друг Феликс: “Нам посылаются испытания, значит, Бог помнит о нас”. Испытания сегодняшние – лишь подготовка к завтрашним. Это смысл нашей жизни: строить, восстанавливать то, что ломает толпа. Вспомнили Сахарова. Швейцера. Христа…

Был как раз Великий Пост.

“ВСЕГДА, ВСЕГДА, ВСЕГДА Я С ТОБОЙ!”

– Как это возможно: быть одновременно со мной, с Ксюшей и с папой? Тем более – всегда, – говоришь ты.

Оказывается, сынок, – возможно. Оказывается – по-другому никак и нельзя. Если любишь…

ГДЕ Я НАЙДУ НАШ РАЙ?

Мой мальчик. Когда я вспоминаю время твоего раннего детства, мне кажется – я вспоминаю жизнь в раю… Аллея цветущей жимолости, белой и розовой, по которой мы ездили с тобой на молочную кухню… Лопающиеся тополиные почки. Сияющий белыми звёздами жасмин… Вселенная запахов, пришедших, как мне казалось, из сказок Андерсена. Цветущая бузина… Всё цвело тогда на земле. Забыть это невозможно.

Твоё первое лето…

Вышла в булочную. Иду знакомой дорогой, по которой когда-то ходила, катя впереди себя голубую коляску с моим мальчиком, по которой столько раз ходила, держа его, подрастающего, за руку. Иду знакомыми двориками: здесь мы гуляли когда-то с тобой… В этих песочницах ты лепил свои куличи, а потом замки… На этих качелях, самозабвенно раскачиваясь, напевал свои песенки…

Мерзость запустения в нашем раю. Рай остался только в моей памяти. Скелет песочницы. Скрученные винтом железки качелей. И ничто не цветёт, не пахнет… На месте нашей любимой клумбы, где всегда порхало столько бабочек, – груда мусора. А полянка, где ты, бывало, бегал босиком, падая со смехом в траву, – плотный, ощетинившийся слой битого бутылочного стекла…

Куда я пойду с моей девочкой? Где я найду наш рай?…

* * *

И всё-таки эта весна – весна надежд, повторяю я, как заклинание.

* * *

“11 апреля 1990, Страстная среда, около полуночи…

Здравствуй, Володя!

Сегодня весь день мысленно писала тебе письмо. И вот приходит Гавр с работы – а в руках у него письмо от тебя!…

Я тысячу раз уже писала тебе письмо в мыслях своих, но вот

руки до бумаги не доходят… Прости! И знай: неприход писем не означает их ненаписания. И уж тем более, что мы будто бы забыли тебя! Мы тебя любим. И держим близко-близко – в поле своей любви. Ведь ты это чувствуешь, правда?

А теперь – коротко про нашу жизнь (пока Ксюнчик спит, а то мне скоро её кормить).

Живём радостно, но очень напряжённо. Зима была тяжёлой: все без исключения переболели, включая Ксюшу – увы!… Анюта лежала месяц с пневмонией, мама Гавра в это же время с инфарктом, Гавр метался между двумя больницами на разных концах Москвы и домом, где тоже все были хворые.

Сейчас постепенно приходим в себя. Но – сильная усталость, от которой никак пока не удаётся освободиться.

И всё же РАДОСТЬ огромнее усталости! Наша Ксюша – такое солнышко, такое милое, улыбчивое, светящееся нам навстречу своими серыми глазками!… Умная и любопытная. Смешливая и часто плачущая. Очень тонкое, очень реагирующее на всё на свете существо. Ей в этом мире пока трудно. Гиперметеочувствительна. Головные боли и слёзы по поводу каждого атмосферного сдвига. А зима и весна нынче сам видишь, какие… Трудно. Но мы её ужасно любим, и она это чувствует. И отвечает нам тем же.

Очень общительна. Общаться с ней – наслаждение! Всё-таки младенцы – скорее ангелы, чем люди.

А ещё Ксюша похожа на воробушка! Уже чирикает вовсю – на своём птичьем языке. 14 апреля – нам 4 месяца!

Антон к сестрице относится с нежностью и любопытством, с интересом великим. Мои детки хоть и очень разнятся возрастом и ростом своим, но души их – одного, ангельского, возраста. С приходом Ксении я стала любить Антона ещё сильнее, хотя, казалось, что сильнее уже некуда…

Боюсь, что Ксюше в этом мире будет так же трудно, как её брату. Очень уж тонкокожи и ранимы… На все твои вопросы, Володя, по поводу Антона (как он вживается в нашу суровую действительность) постараюсь ответить своей следующей книгой. Которую не знаю, когда напишу… Но думаю, что напишу.

Публикация в “Семье и школе” не радует: слишком велики сокращения и утраты смысла. Хотя уже есть письма от читателей: благодарят и жаждут прочесть всю книгу целиком. Спрашивают, где можно её достать.

Ха-ха! В моём столе. Публикация пока не светит, кругом – глухие крепостные стены; да и нет сейчас возможности бегать по издательствам. “Агу-агу!” – Ксюнчик не отпускает от себя; и правильно делает!

Когда ты получишь письмо – будет уже Светлая Седьмица.

Христос Воскресе!"

“ОЙ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!”

Девочка с прекрасными, круглыми и жёлтыми, как у кошки, глазами. Она окликнула меня на улице: “Ой, здравствуйте!” “Ой!” – относилось к Ксюше, которая внимательно смотрела на девочку из коляски. “Вика, милая!” Я обнимаю её за хрупкие плечики и глажу по тонким белым волосам, разбросанным по ветру…

Я люблю эту девочку. Когда-то, несколько лет назад, я держала её на коленях, заплетая её мягкую беленькую косичку, и думала: какое это, наверное, удивительное переживание – иметь дочку. Хотя всегда мечтала о сыне и счастлива была им, – но с девочкой Викой на коленях мне открылось: дочка, оказывается, это тоже прекрасно…

Теперь Вике так же, как и тебе, четырнадцать. Но, в отличие от тебя, вымахавшего за последний год в юношу, Вика осталась маленькой девочкой. И ты даже не узнаёшь её теперь в школе…

А когда вам обоим было по пять лет, вы бегали в клуб на занятия музыкой и английским языком. Детей там была уйма, но подружились мы только с этой круглоглазой белоголовой девочкой.

Вы дружили семь лет. Вика жила по-соседству, и вы по нескольку раз в день бегали друг к другу.

Она терпеть не могла математику, и ты решал за неё задачки. Вы вместе лепили из глины, сочиняли наперебой сказки, или, сидя вдвоём в кресле-качалке и с упоением раскачиваясь, распевали песни, которые придумывали тут же, на ходу…

Вы мне напоминали других мальчика и девочку – андерсеновских Кая и Герду… И я бы ни за что не поверила, если бы мне сказали тогда, что пройдёт несколько лет и на вопрос “Встречаешь ли ты Вику в школе?” – ты ответишь: “Не знаю… Может, и встречаю, но я её не узнаю”.

Нет, вы не рассорились. Просто… ты вырос. Вырос из детских сказок… И “поселился” в лесу – в “верхотурах небес”.

И стал жить жизнью, полной риска и приключений, – жизнью настоящего мужчины. И в этой жизни, увы, не оказалось места для девочки, с которой ты дружил целых семь лет. Мне грустно. А ты говоришь: “Ничего страшного. Просто тогда была одна жизнь, а теперь – другая. Ну, представь сама: что Вике делать в лесу? По деревьям она не лазит…”

Я вспоминаю свои детские дружбы. Они тоже все распались. “Ничего страшного”, – сказал ты. Но моё сердце грустит и никак не соглашается с тобой…

– А мы завтра переезжаем, – говорит Вика. – Мы наконец-то

обменялись.

– Далеко?

– Далеко.

Она называет улицу. Это – на другом конце Москвы.

– А телефон нам оставишь?

– Там нет.

– Тогда хотя бы сама звони нам иногда. Пожалуйста! Я буду по тебе скучать.

– Хорошо, – говорит она.

И я, глядя в её печальные жёлтые глаза, понимаю, что она – не позвонит…

* * *

– А это вообще возможно – найти свою половинку? – говоришь ты. – Это реально? Ведь столько людей вокруг! А твоя половинка, может, где-нибудь в Австралии обретается… Я не твою, мамася, половинку имею в виду. Ты-то свою нашла, как я понимаю. Но ведь это – чистая случайность!

* * *

“Послушай, и как ты ему позволяешь ездить на электричках?” – изумляется подруга. Ещё недавно она меня спрашивала с тем же изумлением: “Зачем ты ему разрешаешь лазать по деревьям? Ходить одному в лес. Неужели ты не волнуешься?”

Это я-то не волнуюсь?! Одному Богу известно, *как* я не волнуюсь…

– Но как же я могу ему не позволить?

– Запрети – и всё.

Я смеюсь в ответ на это. Я же не генерал, а он не солдат, чтобы мне отдавать, а ему выполнять приказания! Я не начальник, а он не подчинённый. Я никогда не приказывала ему, даже когда мой мальчик был малышом. Мы всегда были друзьями. И мой долг, как друга, но и не только долг, а и потребность, желание: ПОНЯТЬ ЕГО.

И я его понимаю. Я понимаю, что мой сын живёт *свою жизнь*. Да, полную риска… Но он не может не лазать по деревьям! Он не

может не ездить на электричках. Потому что он – ЭТО ОН. С ЕГО потребностями, ЕГО желаниями, ЕГО страстями. Которые совсем не обязательно должны совпадать с моими; да они и не могут, и НЕ ДОЛЖНЫ совпадать с моими, материнскими: чтобы был рядышком, на виду, в безопасности… Я его принимаю таким, какой он есть. Со всеми его интересами, со всеми его устремлениями… Всё равно он будет жить *свою жизнь*. Но я не хочу, чтобы он таился от меня, что-то скрывал. Мы всегда были открыты друг другу.

И потом: Господь даровал нам свободу. Каждому из нас. Как же я могу лишить этого Дара своего сына? Даровал – Господь, а я, человек, посягну? Какое я имею право?

– Но ведь так с ума можно сойти: где он? что с ним?

– Можно сойти. Я бы и сошла давно… Но тут одно средство: и чтобы с ума не сойти, и чтобы с ним ничего не случилось. Молитва…

Вот за ним закрывается дверь, помашу с балкона и – пока не вернётся – молюсь.

БРАТ И СЕСТРА

“Мама, она посмотрела на меня таким умным взглядом!…”

ПОЖАР НА СОСНЕ

Господи, да неужели они сильнее тебя? Те, которых не любили в детстве. Да, они могут сломать твой дом на сосне. Могут даже сжечь его… Но неужели они властны и над твоей душой, мой мальчик? Неужели они могут вовлечь тебя в свой хоровод? “Возлюби врага своего”. Как же это трудно, когда тебе четырнадцать. В любом возрасте трудно, знаю по себе. Не ответить на злобу, ненависть – тем же. Не раздражиться. Не впасть в отчаянье. Но – пожалеть…

…Ты строил свои замки на ковре, и я бережно обходила их, стараясь не разрушить. Хотя это было и непросто – в нашей однокомнатной квартире. Твой город на ковре, посреди комнаты, стоял не день и не два – а несколько лет! Твой город, твой мир – это для меня всегда было самое дорогое. Я могла в сердцах уничтожить свою рукопись, но – не выстроенную тобой башню!

Я думала: любовь укрепляет, даёт силы на всю дальнейшую жизнь. Неужели я ошибалась?…

* * *

“Наверное, вам сейчас не до того”, – пишет моя подруга. Её письмо – о том, как отвратительно устроен наш мир. Но сейчас, когда у нас появилась малышка Ксюша, и мы в блаженных хлопотах у её кроватки, моя подруга полагает, что нам не до устройства мира…

* * *

…Потом ему было плохо. Его страшно рвало и он лежал на своём диванчике зелёный.

– Думаешь, это из-за “Гулага?” – говоришь ты с сомнением.

– Я не думаю, я просто уверена в этом. Он столько всего перечитал за последний год: и Шаламова, и “Крутой маршрут”… Столько всего! Я даже и не знаю, что. Ведь вы прячете от меня эти книги: то ждала Ксюшу, теперь кормлю Ксюшу… Мне – нельзя. А ему – ребёнку – можно?! Ему – с ещё не устоявшейся психикой и

такой хрупкой нервной системой! Разве ему – МОЖНО?!

– Но ведь… нужно? – неуверенно говоришь ты.

– Зачем?! Зачем ему это нужно? Нужно тем, кто ничего НЕ знает. Кто СПИТ. Тем – нужно. Чтобы проснулись. А наш мальчик и так знает. Прадед сидел, дед сидел, другой дед сидел… А “Гулаг” – это… Не каждый взрослый это выдержит.

– Но для нас в семидесятые это было как глоток свежего воздуха, ты же помнишь, – говоришь ты.

– Нам в семидесятые было всё-таки за двадцать. А он ребёнок ещё…

– А я второй том принёс.

– Спрячь, пожалуйста. Пока что… Пусть лучше отца Александра читает, пока не окреп. “Сына человеческого”. Ребёнка вначале взрастить надо, а потом уже взваливать на него крест…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Я боюсь за наших детей. Нам жилось легче: у нас были иллюзии. У наших детей иллюзий нет. И надежд тоже нет. И мечты… Ты заметил? Современные дети не мечтают. О чём может мечтать ребёнок в нашем обществе? Разве о том, чтобы переделать его. Но ведь не каждый рождается революционером или политиком. А о чём может мечтать ребёнок с естественными или гуманитарными наклонностями? “Вот, напишу книгу, и её издадут”? Но наши дети уже знают: не издадут!

– Но, может, всё не так ужасно, как тебе сегодня кажется?

Ты пробуешь улыбнуться.

– Твой оптимизм меня иногда убивает.

– Ну, вот…

ПОЖАЛУЙСТА, УЛЫБНИСЬ ЕЙ

– Улыбнись ей.

– Не могу.

– А мне ведь можешь?

– Тебе – это естественно.

– А ей?

– Ну, ей я тоже ведь иногда улыбаюсь…

Ты ушёл. Я осталась с твоей сестрой на руках, мне хотелось плакать…

И опять я пишу тебе письмо. Опять мысленно разговариваю с тобой. Ты придёшь вечером из лесу, и я расскажу тебе своё письмо, не успев, как всегда, его записать к твоему приходу. Но ведь когда-нибудь запишу!

Вот как раз этим уже и занимаюсь…

ГРЕМИТ ПОГРЕМУШКА, ГРЕМИТ ЭЛЕКТРИЧКА…

* * *

– Порой мне кажется, что ты стал относиться к своему раннему детству… как-то презрительно, что-ли… Несколько высокомерно. Вот, был маленький, слабенький, ничего-то не умел, какой кошмар, ни на дерево залезть, ни подтянуться. И что это была за жизнь?… А я тебе напомню: прекрасная была жизнь! Не надо попирать своё детство. Это – несправедливо. Это грустно и очень больно.

– Кому больно?

– Мне.

РАЗБИРАЯ ЯЩИК СО СТАРЫМИ ИГРУШКАМИ

Он стоял под креслом уже много лет, и я всё время хотела его разобрать, всё время надеялась: вот выпадет свободная минутка, я вытащу его на середину комнаты – и покайфую…

Ящик, доверху набитый твоими старыми игрушками…

Но эта свободная минутка так и не наступила.

Зато наступили совсем другие минутки…

И всё же я вытащила этот ящик на середину комнаты, и поставила рядом таз с водой – для омовения этих, ни с чем не сравнимых, драгоценностей… И пока посапывает в кроватке Ксюнчик, а ты – тут же, рядом, за компьютером, – я предаюсь блаженству. Блаженству воспоминаний о том времени, когда ты был маленький…

Наверное, я похожа сейчас на археолога. С трепетом сдуваю пыль с осколков того волшебного времени, и даже эта пыль кажется мне драгоценной.

Россыпь разноцветных кубиков… – Ты строил город, города на ковре посреди комнаты. – Стройматериал твоего детского мира.

Россыпь деталей пластмассовых конструкторов… Самых разных. Их тут, наверное, разновидностей десять, или даже больше. Мне предстоит их рассортировать и разложить по коробкам – пусть теперь дожидаются Ксюшу… Помнишь, как ты обожал делать часы? Самые фантастические! Конечно, это не были часы в нашем, бытовом, понимании. Это были – самые разнообразные удивительные конструкции, которые ты называл почему-то “часами”. А вот, кстати, те самые “светозажигательные часики”, которые ты мне подарил когда-то. Тебе было четыре года. Помнишь?… Не можешь не помнить. Наверное, целый год ты мечтал быть часовым мастером. Вернее – ты был им! Ты даже написал объявление и прикнопил его на нашу входную дверь со стороны лестничной клетки, так что соседи могли с удивлением прочесть: “Чисавой марстер. Время работы – всегда”. Была зима, и ты целыми днями трудился над конструкцией “летающих часов” – ты хотел улететь на планету Маль… На твою планету. Чтобы мы вместе туда улетели. Ты жил этой мечтой не один год…

Ну, конечно, помнишь! А говорил – не помнишь… Разве можно забыть? Это целая жизнь – когда мы каждый день говорили о планете Маль… Да мы фактически и жили на ней! Господи,

какая блаженная была жизнь!…

Не отрываясь от экрана компьютера, ты спрашиваешь:

– Разве у тебя сейчас жизнь не блаженная?

– Конечно, блаженная. Но и очень напряжённая.

– Да-а?

– Да. У меня ощущение, что я стою в середине разрубленного каната, держа в руках два его конца. Эти концы разъезжаются в разные стороны, а я пытаюсь соединить их в одно целое.

– Что-то не совсем понятно…

– Очень непросто жить сразу в двух детствах. И пытаться соединить их в одно.

– Как это?

И – шёпотом, чтобы не разбудить чутко спящую Ксюшу – волнуясь и торопясь, я начинаю говорить тебе о том, что не дает мне покоя вот уже четыре месяца. Со дня появления на свет Ксюши. – О раздвоении. О том, что раньше, когда ты был маленький, было труднее, но – цельнее по ощущениям и переживаниям. О том, как трудно входить в детство и, одновременно, – вырастать из него…

– Я никогда не была так счастлива, как в пору твоего раннего детства…

– А разве сейчас ты не счастлива? – спрашиваешь ты, оторвавшись от компьютера.

– Счастлива. Ещё бы! Сейчас я трижды счастлива! Тобой, папой и Ксюшей. Но тогда было по-другому… Тогда было полное, безоглядное погружение: в бабочку – на которую ты сейчас смотришь, в цветок жасмина в твоей руке, в песочный домик, который ты вылепил на бортике песочницы… Полное и безоглядное погружение – в твой мир: в то, на что ты смотришь, в то, о чём ты думаешь. Мой мир тоже существовал – но как бы на периферии. Он был для меня – не главное. Главное – единственно главное в моей жизни – был ты… Хотя в то же время был мой институт: бесконечные сессии, контрольные, курсовые, была работа за кусок хлеба, сидение по ночам за машинкой, было вечное безденежье, но – надо всем царила РАДОСТЬ. Радость погружения в твой мир…

– А сейчас?

– Сейчас – очень напряжённо. Сейчас нет той безоглядности. Той цельности чувства. Ксюша только вступила в детство. А ты неожиданно вырос… Нет, нет, ты ещё ребёнок! – говорю я поспешно, видя растерянность в твоём взгляде. – И всё-таки ты вырастаешь из детства… А мне так хочется быть с вами навыкладку! И с тобой, и с Ксюшей. Мне это необходимо. Я по-другому и не могу. Вот и получается: общаюсь с тобой – и в то же

время думаю: как там Ксюнечка?… Или: кормлю Ксюнечку, и вдруг ловлю себя на том, что мыслями – не с ней, а с тобой – в лесу. Слушаю, как Ксюнечка гремит погремушкой, а слышу – гремит твоя электричка…

ОНА СМОТРИТ НА СИНИЙ ПАРУС

Синяя пелёнка висит на верёвке на лоджии. Её треплет ветер и ярко высвечивает солнце. Она похожа на синий парус.

Синий парус я вывешиваю над коляской, когда выставляю Ксюшу на лоджию – спать.

Ветер! Коляска под синим парусом колышется на фоне просторного весеннего неба – как корабль на волнах… Два сверкающих глаза смотрят на синий трепещущий парус…

Ей обязательно нужно на что-то смотреть, что-то впитывать взглядом. Только впитав, насытившись, – она уснёт.

Я не знаю, на что она устремит свой взгляд завтра, но сегодня – она смотрит на синий парус…

* * *

Вечера плача чередуются у нас с вечерами смеха. Точнее – часы смеха с часами плача. Ксюша – невероятная, упоительная хохотушка. (Когда её ничто не беспокоит – в её внутреннем космосе и – в космосе внешнем).

Заразительнее всего Ксюнчик хохочет над моими шутками. Как будто догадывается, что её мама – неосуществившийся клоун! Хотя я ничего особенного не делаю, ничего специально для вызывания хохота. Просто говорю ей: “Ксюша, привет!” – и она хохочет! “А вот и я, Ксюша!” – хохочет! прямо повизгивает! Подношу её к окну, говорю: “Смотри, Ксюша, это – солнышко.” – хохочет! “Это – птички летают.” – хохочет! “Это – пелёночки твои на ветру трепыхаются.” – хохочет!…

Может, я тут и ни при чём? Может, это у неё внутри ходят (сами собой) волны смеха? Как и волны плача…

Такой необъятный, такой бездонный океан… Океан – в сверкающей капельке…

В капельке – по имени Ксюша.

РАЗБИРАЯ ЯЩИК СО СТАРЫМИ ИГРУШКАМИ

– Скажи, зачем ты это копишь? Выбрось – и всё. И не нужно будет возиться, перебирать, перемывать это всё… Только время убиваешь, – говорит Антон.

– Выбросить?! Ты что – всерьёз?

– Всерьёз. Ведь это же мусор. Не всё, конечно, но большая половина.

– Мусор?! Нет, ты чего-то не понимаешь…

– Тогда объясни, – говорит он.

– Ну, во-первых, я время не “убиваю”. Я за эти дни всё твоё детство заново пережила. Перебирая эти кубики, колёсики, палочки, шишки, камушки… Как будто прогулялась по планете Маль, по нашему лесу, по нашей бухте…

– Ты что, и эти старые, рассыпающиеся шишки хочешь сохранить? И эти серые, ничего не значащие камни?

– Конечно. Все это такой энергией заряжено! Ты, маленький, собирал эти камни, эти шишки, эти палочки, ты ими играл, ты их любил.

Как можно выбросить? Ведь это часть нашей жизни, часть нас самих. Наверное, если бы какой-нибудь экстрасенс подержал в руках вот этот камушек, он бы смог рассказать о тебе-пятилетнем. А, может, и о тебе-сегодняшнем, кто знает?… Ведь всё – живое, всё – помнит, всё – чувствует.

– Наверное, ты преувеличиваешь, мамася?

– Не думаю… Скорее – всё ещё сложнее, ещё глубже, чем мы можем себе представить.

– Неужто и эти карандашные огрызки сохранишь?

– Это же не просто огрызки! Они покусаны твоими молочными зубами!… Твои первые карандаши. Они мне дороги. Почему я должна выбрасывать то, что мне дорого?

– Всё-таки ты странная, мамася…

– Пусть буду странная.

– А ведь скоро появятся карандаши, покусанные Ксюшей! И камни, и шишки, которые притащит она!

– О, наступит и это блаженное время!

– Так мы окажемся погребёнными под всем этим, и никто нас не спасёт! Даже если у нас будет когда-нибудь десятикомнатная квартира.

– Ну, что ж. Значит, такова наша судьба.

Мы смеёмся.

* * *

– Мамася, разве я не люблю Ксюшу? Да и она меня, по-моему, любит. Так что твоё желание уже сбылось.

– Это не просто желание на сегодня. Это – пожелание НАВСЕГДА. Ведь когда говорят: желаю тебе здоровья и счастья, это не значит, что пожелание адресовано непременно несчастному и больному. Это означает: желаю, чтобы ты был здоров и счастлив ВСЕГДА.

– А… понимаю.

НЕ ПРОШЛО И ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

Глава седьмая

Не прошло и восемнадцати лет, как мы стали молодыми родителями…

* * *

Любовь с первого взгляда. На всю жизнь. И – бесконечные годы врозь…

На тринадцатом году стали мужем и женой.

На тринадцатом году от дня Первой Встречи, имея за плечами три развода (в общей сложности, на двоих) и трёх почти уже выросших детей (опять же в общей сложности – на двоих).

Муж и жена… После одного-единственного лета любви, горького и прекрасного, с детскими поцелуями на Крыше под жёлтой луной, с гуляниями за руку в жаркой московской толпе… (Когда, когда это было?…) После стольких лет строгой дружбы. А потом (было, было это трудное время!) – стольких лет невстреч. И – в итоге – просто приятельства…

Муж и жена. Причём, никто никого ни от кого не уводил: прилепившиеся к нам чужие “половинки” ушли от нас сами.

Бывает в жизни вот такое потрясающее везение! Не пришлось становиться предателями. (Почти тринадцать лет терпеливой жизни-врозь доказали, что ни ты, ни я на это не способны). Не пришлось строить своё счастье на чужих слезах. За это надо бы тысячекратно возблагодарить Бога.

Не прошло и восемнадцати лет, как у нас появилась Ксюша.

Ксюша, Ксения, Аксинья!…

Когда уже всё (как нам казалось) было *невозможно*, – она пришла, явилась – живым, воплощённым чудом: “А вот и я! А вы уж, наверное, и не ждали?…”

…Восемнадцать лет назад, летом, на окраине Москвы, мы целовались у зелёного пруда, стоя на хрупких мостках среди сухого жара августовского камыша… Чужой муж и чужая невеста. И эти невинные поцелуи нам казались грехом.

…О, это был шелестящий лес камыша, чащи камыша, джунгли камыша, в которых пряталась маленькая деревенька. Самая настоящая деревенька! С вальяжными утками в зелёном пруду, с кудахтаньем разморенных зноем кур, с уютным запахом печного дымка, с самодельными качелями на могучей старой иве…

Деревенька называлась Аксиньино.

КСЮША, КСЕНИЯ, АКСИНЬЯ, МОГЛИ ЛИ МЫ ЗНАТЬ?…

Деревеньки той теперь нет. Но стоит у пруда, как и стояла в то лето, как стоит уже не один век, церковь из красного кирпича – храм Знамения Божьей Матери в деревне Аксиньино.

…В то лето, восемнадцать лет назад, у зелёного пруда, у Знаменского храма, мы были самыми несчастными на свете… Потому что даже самая отважная, самая дерзкая мечта человека – жалка и бескрыла по сравнению с промыслом Божьим.

* * *

Рядом, рядышком, вместе. Уже не близость – а общность. Чувствований, мыслей, переживаний. Не диалог – а полифония, сплетение, переплетение…

И вдруг – хлопает дверь. Ты уходишь…

Всего лишь до вечера. Всего лишь на несколько часов. Но всё равно – разлука.

Несколько лет назад: Иду от метро к дому – тебе навстречу по нашей Берёзовой Аллее. Но почему-то не вижу впереди твоей стремительной фигуры. Неужели разминулись? Неужели ты прошёл раньше? Значит, одной встречей меньше в нашей жизни. Одной улыбкой меньше…

Да, конечно, мы встретимся вечером дома, и будем пить чай, и смеяться, и никогда в жизни (надеюсь!) не расстанемся надолго, но – одной встречей, одной улыбкой меньше…

“Никогда не привыкну к тому, что мы вместе”. “Какая ты недоверчивая”, – говоришь ты. “Наверное, я грешу, гневлю Бога тем, что всё ещё никак не поверю…”

* * *

Трудно ли было простить друг другу ошибки?

Трудно.

За тринадцать лет жизни-врозь их нагромоздилось столько!…

Встретившись однажды в этом мире, взглянув друг другу в глаза и *узнав* друг друга, – мы написали в то лето, и потом – осенью и зимой, несколько книг стихов. Посвятив их друг другу. И – разбежались в разные стороны…

Мы разбегались так долго, так долго… Забыв, что земля – круглая. Круглая – как объятье истосковавшихся рук…

Когда-нибудь это должно было случиться – наша Новая Встреча. Если и не по закону жизни – то по закону чуда.

* * *

Сегодня восемнадцать лет с нашей Первой Встречи. Сегодня с букетом тёмно-красных пионов ты подарил мне пластинку моего любимого Марио Ланцо. Сегодня мы нарушили многолетнюю традицию и не поехали на нашу Крышу. Потому что трудно бегать по Крыше с младенцем на руках. “А может быть, всё-таки?…” – “Милая, не безумствуй”, – сказал ты строгим голосом и улыбнулся: “Потерпи до следующего лета. Ведь Крыша от нас не убежит, правда? А потом… мы ведь и так на Крыше, разве ты не чувствуешь?” – “О, как я это чувствую!… Только на Крыше может так отчаянно кружиться голова! Только на Крыше может быть такой хронический недосып!”

Мы ставим на проигрыватель пластинку невероятного Марио и тихо, бесшумно кружимся по комнате…

Завтра нашей долгожданной, драгоценной Аксинье – Великие Полгода. Завтра мы будем встречать тебя на нашей Берёзовой Аллее. А ты будешь бежать, лететь с работы через всю Москву – чтобы успеть! И появишься на Аллее, с букетом роз для дочки, ровно в 19 часов 38 минут! Ровно в этот час и в эту минуту Ксюне исполнится её Великая Дата.

Но это – завтра. А сегодня – наша пока ещё пятимесячная дочь спит на лоджии, на нашем счастливом тринадцатом этаже, под лёгким пологом оранжевого, цвета настурций, заката… И в его свете её нежное, бледненькое после дождливой зимы и сумрачной весны личико кажется румяным и загорелым. Рядом – на стареньком диване, спит Антончик. На его щеке ласково шевелится тень от веточки дикого винограда, ползущего по перилам…

Негромко, приглушённо (чтобы не разбудить детей – двери на лоджию распахнуты настежь) звучат солнечные обертоны Марио… Легко и бесшумно, как когда-то на Крыше, кружимся по комнате – в маленьком счастливом пространстве – между Ксюшиной кроваткой, Ксюшиным манежем и Ксюшиным высоким стульчиком…

– О чём ты вздыхаешь, милая?

– Жалко…

– Чего?

– Тех шести лет, которые мы могли быть вместе. И не были.

– Ты никогда не простишь меня?

– Я давно тебя простила. Но всё равно – жалко… Нашей девочке могло быть уже десять лет!

– Разве плохо, что ей завтра полгода?

– Это чудесно! Но тех шести лет всё равно жалко…

– Милая, но ведь мы не будем ссориться в Наш День?

– Я не ссорюсь. Я просто размышляю: как это могло случиться?

– По моей глупости.

– Боже мой, я так ждала тебя! До сих пор помню, как прислушивалась по вечерам к гудению лифта…

– Я думал: ты забыла меня…

– Пришёл бы и спросил: забыла ли?

– Но ведь пришёл! Вот я – здесь, навсегда.

– Когда я тебя сама позвала…

– Не позвала бы, – всё равно пришёл. Рано или поздно – пришёл бы.

– А вдруг – поздно?

– Тогда это была бы не наша, а совсем другая история… Зачем, моя хорошая, тосковать из-за того, чего, слава Богу, не случилось? Вот, ты вся в этом.

– Но, может быть, не вся?

Мы смеёмся.

Радуется и грустит вместе с нами наш солнечный друг Марио, который сегодня, лучше, чем кто-нибудь другой, может разделить нашу радость и нашу печаль…

Мы и не подозревали в тот вечер, чем вскоре станет волшебный голос Марио для нашей дочки…

* * *

Из недописанного чего-то, найденного на днях в ворохе бумаг на обеденном столе:

“Это – узость. Так сосредотачиваться на детях”, – сказала ты, когда мы виделись неделю назад. Ты ещё только ждёшь своего первенца, но думаешь не о том, как сосредоточиться, а о том, как не сосредотачиваться. Я хочу спросить тебя: ПОЧЕМУ? Почему любить *вообще* детей, быть педагогом или воспитателем (желательно – сирот или брошенных) – *широта*, а любить своих, родных – *узость*? ЛЮБИТЬ – УЗОСТЬ?

Но ведь сказано нам, давно и на все времена: “Бог есть любовь”. И если пребывание в Боге, с Богом – узость, то что же тогда широта?

Помню, лет десять назад один знакомый сказал мне: “Ты слишком любишь его. Своего сына”.

Но можно ли любить *слишком*? Или – любить не слишком? “Она меня так любит, что мне это уже невмоготу!” – сказала ты о своей матери. Любит ли? – подумала я.

Любовь – путь к свободе. Сама свобода. Если же любовь становится узами, если обрекает на рабство, – то это уже не любовь, это – одна из её многочисленных противоположностей…"

* * *

– А это – Марио Ланцо! – говорю я и опускаю иглу на пластинку…

Но нет, это я забежала сильно вперед! Потому что не всё сказано о весне. А в этой весне, в весне по имени АНТОН-И-КСЕНИЯ, было ещё много чудесного. Чудесного и трудного, – разного, о чём хотелось бы не забыть.

ДВЕ МОНАШЕНКИ В МЕТРО НАПРОТИВ

Серая середина весны. Грязно и холодно. Моя редкая вылазка из дому. Тороплюсь: надо успеть обернуться между двумя кормлениями.

Серая отсыревшая толпа мутным потоком вливается в хлюпающие двери метро. Серые усталые лица. Убогие одежды. И вдруг – яркий бело-синий проблеск! Как прореха в тусклом небе. Устремляюсь за поманившим меня бело-синим… Вхожу в тот же вагон. Сажусь напротив…

Господи, какая встреча! А они даже и не подозревают о моей радости. Они – две молоденькие женщины в бело-синих одеждах. Две монашенки из Ордена Милосердия матери Терезы.

Свежие лица. Ясные глаза. Лёгкое хлопчатобумажное, белое с синей каймой, сари (неужели им не холодно?), тёмно-синие шерстяные кофты (а мы-то все в куртках и пальто!), на ногах – тёмно-синие шерстяные чулки и сандалии, странно выглядящие среди толпы грязных сапог…

Но им не холодно, это видно. Они оживлены, негромко беседуют, склоняясь друг к другу, тихо смеются.

Господи, как же они контрастируют с усталой и озабоченной московской толпой! Как две бело-синие птицы. Существа иной природы.

И ещё много дней я вспоминала о них и думала: “Интересно, а что если и моя дочь захочет когда-нибудь облачиться в монашеские одежды? Смогу ли я так же искренне радоваться этому, как радовалась, глядя на чужих дочерей? Радоваться её радостью? И не сокрушаться…”

Я ТЕБЯ, НАКОНЕЦ, УГОВОРИЛА

Я тебя, наконец, уговорила, и ты отнёс рукопись своих философских эссе в издательство “Книгу”. Чтобы издать за свой счёт.

Никакого своего счёта у нас нет. И мы стали гадать: у кого бы занять? Но все наши друзья такие же бессребреники, как и мы…

И тут начальство на твоей работе решило сделать красивый жест: оплатить издание твоей книги. Дай-то Бог, чтобы оно, начальство, не передумало, ибо оно, твоё начальство, очень переменчиво в своих настроениях.

Теперь Анюта рисует обложку и картинки. Получается феерически! Раз в неделю она привозит гору новых эскизов, и мы, укачав Ксюню, садимся их обсуждать – иллюстрации к твоей книге. Для меня это звучит совершенно пьяняще: ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТВОЕЙ КНИГЕ! Да к тому же – АНЮТИНЫ!

Распрощавшись месяц назад с университетом, получив добытый великими трудами математический диплом, Анюта, наконец, занялась тем, чем и должна (с нашей, родительской, точки зрения) заниматься: книжной графикой. Твоя книга – её первый серьёзный опыт. Как здорово, что она никогда и нигде не училась рисовать! Она рисует так ПО-СВОЕМУ, как, наверное, не сумел бы художник, обученный кем-то…

Верится ли нам, что твоя книга выйдет? И да, и нет. Мы (никуда от этого не денешься) – дети совка: нас долго, очень долго отучали верить. В плохое – верится легко, в хорошее – с трудом, с оговорками: “Ну, это ещё дожить надо… ещё что-угодно может случиться. Ведь это же СОВОК! Вот когда книга уже на столе лежать будет – тогда поверим”.

Но и тогда скажем: не верится!

…А по ночам, засыпая, так приятно помечтать: вот наступит осень, и выйдет твоя книга…

О ТОМ, КАК Я ЕЗДИЛА В “ДЕТСКИЙ МИР”

Ты сказал: “Тебе надо проветриться”. И я решила съездить в “Детский мир” и накупить дочке новых игрушек – может ли быть прогулка веселее?

Идя от дома к троллейбусной остановке, я всё оглядывалась на нашу лоджию: там на фоне ультрамариновой стены слегка покачивалась на лёгком весеннем сквознячке детская коляска. В коляске спала дочка, от которой я никогда не научусь уходить, хоть на час, с лёгким сердцем. Конечно, всё будет в порядке – ты такой замечательный папа, а Антон такой замечательный брат, вы не хуже, чем я, можете обиходить и развлечь Ксению, но всё равно! Это так противоестественно – уходить из дома, где твои дети и твой муж. Хоть и на час!

Я совсем одомашнилась. За последние пятнадцать лет. Спасибо Антоше, спасибо тебе, спасибо Ксюше. А ведь когда-то – была кошка, гуляющая сама по себе…

И куда бы я ни ехала теперь, с какими бы потрясающе интересными людьми ни общалась, – я знаю: самое интересное сейчас происходит у меня дома, и самые интересные на свете люди, с которыми мне никогда в жизни не наскучит, – мои любимые.

Но я ведь вышла не грустить, а проветриться! Я еду в самое весёлое место.

…И я окунаюсь в него с головой. И набиваю свою необъятную сумку разной звенящей, пищащей разностью… То-то будет веселья Ксюне!

Продираюсь к выходу. На пути – плотная очередь в кассу, у каждого и у каждой в руках по два весёлых платьица. У кассы – женщина армянка, у неё – три платьица, два одного размера и одно побольше. “За три не выбью. Положено два”. – “Но у меня три дочки! Старшенькая и две малышки,” – нежно улыбаясь, говорит покупательница. “А меня это не интересует! Не положено!” – цедит кассирша. Очередь напрягается, как овчарка, ожидающая приказа: “Взять её!” “Ну, пожалуйста, девушка! – растерянная покупательница суёт кассирше деньги. – Как же я вернусь домой, милая? Двоим привезла, а одной нет?” – “Вы что, женщина, *русского языка* не понимаете?” И тут очередь взревела! Потная и стоглазая, она потрясала весёленькими, розовыми и голубыми, платьицами, точно знамёнами сатанинской армии, идущей в бой, и извергала лай: “А катись ты… откуда приехала! Там тебе дадут сколько захочешь!” – “О Господи, да нет там ничего! Понимаете, нет!” – бедная женщина уже плакала. “А нам

какое дело! У нас у самих нет!… Чего к нам-то ездите? Армяшки, спекулянты… на рынке… с русского человека три шкуры драть!…" "Ну, будете пробивать или нет?" Бедная женщина уже откладывала в сторону одно платьице – то, что для старшенькой…

В ужасе выскочила я из "весёлого" места. Не помню, как добралась домой. Меня трясло и я была совершенно больной. "Боже мой, что с тобой?" Рассказываю…

– Самый заурядный случай, – говорит Гавр.

– Заурядный?!

– Да. Ужасный, но – заурядный. Это ты второй год из дому не выходишь, по магазинам не ходишь, в метро не ездишь, не видишь… А я каждый день, туда да обратно, несколько таких сценок обязательно увижу. Только я тебе не рассказываю.

– Но это же ещё ужасней, что *заурядный*! Это же, это же… Как же здесь жить?! Как можно жить в этой стране?

– А где лучше?… Ты думаешь, где-то толпа совершенней?

– Гавр, что ты говоришь? Тогда, значит, совсем конец света?! Тогда и жить не стоит…

– Ну, это ты загнула, мама! Почему не стоит? – говорит Антон. – Просто тебе надо сидеть дома. По крайней мере, пока ты кормишь Ксюшу, а то у тебя молоко пропадёт. Гуляй себе на балкончике. Смотри на солнышко, на птичек, на Ксюшу – радуйся!

– Легко сказать: радуйся!

– А кто сказал, что должно быть легко? – говорит Гавр.

– Никто. Да разве я прошу, чтобы было легко? Пусть будет как-угодно трудно. Но я хочу жить среди людей, а не среди зверей! И чтобы мои дети жили среди людей, а не зверей!

– Но ведь *они* тоже люди, милая. Те, о которых ты говоришь: звери.

– Нет!

– Люди. Люди, над которыми хорошо поиздевались…

– Ах, милый! Я ведь всё понимаю…

А ведь скоро и моей девочке придётся выйти в этот недетский мир… А ты, мой мальчик, ты уже живёшь в нём. Как-то незаметно истончалась цветущая стена, отгораживающая твой детский МИР – от того антимира, что вокруг… Ты уже ничему не удивляешься. Но не дай Бог тебе привыкнуть! И всё же спасибо тебе, что ты сказал: "Жить стоит".

И тебе, Гавр, спасибо, за холодную воду твоей мудрости на мою разгорячённую голову. И хотя от неё не легче, но всё же…

* * *

“Как же они решались в такое время рожать детей?” – думаю я, вспоминая свою бабушку, которая вышла замуж в разгар гражданской войны.

И вдруг подумалось: а ведь и о нашем времени, наверное, когда-нибудь скажут: кризис, хаос, разруха… и как они решались?

* * *

– А ты-то сама как себя чувствуешь? – спрашивает подруга.

– Как Моцарт. Дух парит, а плоть изнемогает.

* * *

Еду в троллейбусе. И вдруг представилось, что моя дочь уже выросла, уже замужем, ждёт ребёнка и ей вот-вот рожать…

Такое волнение охватило, что закрыла глаза и стала мысленно молиться. За неё, мою девочку… И столько всего я пережила, пока троллейбус катил свои колёса…

И так странно было, придя домой, увидеть её – четырёхмесячную…

* * *

“Вы всё так же счастливы?” – пишет нам в письме твоя мама. Пишет с долей иронии, так, словно бы наше счастье свалилось к нам на голову, как манна небесная. За просто так. Словно бы нет ничего проще, чем быть счастливыми посреди этого содома, посреди этой гоморры… Словно бы это сплошной кайф. С закрытыми ото всего глазами.

Счастливы ли мы?… Да, мы счастливы. (Пишу, а у самой дух захватывает от такого дерзкого, дерзостного заявления). Счастливы – когда хватает сил на эту работу. Когда мы делаем её

навыкладку. Потому что быть счастливым – большой труд.

И нет ничего проще, чем быть несчастным. Для этого и делать ничего не нужно. Особенно при нашей-то действительности. Несчастье рассеяно вокруг, как пыль в воздухе… Как инфекция. Трудно им не заразиться. И сколько же труда, сколь сил приходится прикладывать – ежедневно, ежечасно – чтобы противостоять. Да, мы всё так же счастливы. Всё так же неутомимо, не отдыхая, счастливы. Порой – из последних сил счастливы…

* * *

– Наверное, Ксюнчик будет переживать, что её родители не сильно молодые…

– Ну, что ж, – говоришь ты. – Старшим детям – наша молодость, зато Ксюне – наша мудрость.

– Ой, мудрость ли?…

* * *

– Не кажется ли тебе, что мы на Крыше?

ТЫ СПИШЬ ПОД БЕРЁЗАМИ

Глава восьмая

Наше лето. Хочется просто жить. Просто любить.

Но как же это больно – любить…

А так хотелось бы: ни о чём не думать (хотя бы минуту!), не загадывать, не опасаться, не обмирать внутренне…

Погружаться в движение ресниц, в тихое почмокивание соской, в каштановый изгиб бровки…

Хотя бы минуту тихого блаженства даруй мне, Господи!

Полдень. Мы с Ксюшей в берёзовой роще за домом. Я пишу дневничок, она спит в коляске. По личику пробегают тени от ветвей… (Когда-то в этой же рощице спал Антон. И я, точно так же примостившись у коляски, писала его дневничок).

Здесь у нас берёзы, которые мы щупаем, здесь у нас жимолость, белая и розовая, цветущая нежно, как утренний туман, которую мы нюхаем, здесь у нас пёстренькие цветочки в высокой траве, на которые мы смотрим… И всё это мы норовим съесть! Всё – в рот! Берёзки, и те моя юная познавательница норовит лизнуть, когда я её к ним подношу.

А ещё здесь – Ксюшина лиственница. Которую щиплют цепкие Ксюшины пальчики, на которую смотрят в замирании и восхищении Ксюшины глазки. И в двух серых сияющих, тёплых небушках отражаются две крошечные лиственницы… Как когда-то – на Новый год – две ёлки. Как когда-то – огни салюта… Уже много чего отражалось в этих глазках!…

* * *

МОЖЕТ ЛИ ПОСТАРЕТЬ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА?…

* * *

“А это – лиственница, которую щипал когда-то Антончик…”

Мы въезжаем в глухой сумрак разросшейся лиственничной рощицы. Я подношу Ксюню к лиственнице, и мы гладим её шершавый сухой ствол. Здравствуй, милая! Познакомься – это Ксения. Познакомься, Ксюша, – это Антошина Лиственница. А вон, вон там – в высоте – та самая Историческая Ветка! Как высоко вознеслась она за четырнадцать лет!… А тогда, в Антошином Детстве, она ласково зеленела над его коляской, и он с упоением щипал её пушистую, мягкую хвою, просвеченную солнцем…

Теперь здесь глухая тень да старая, рассыпающаяся прахом листва под ногами…

* * *

МОЖЕТ ЛИ ПОСТАРЕТЬ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА?…

* * *

“А это – Веерное Дерево, под которым загорал маленький Антончик…”

Наверное, это всё же ива, судя по листьям, но оно так южно, так пальмово раскрылось – точно огромный зелёный веер… Рядом с этим шелестящим опахалом всегда чудесный, совершенно крымский по ощущениям, солнечный припек. И сейчас – так же, как в пору Антошиного Детства…

Дерево живо, хотя время и люди искорежили его, как могли. Одна, самая большая ветвь, (в сущности – половина веера) отломилась – не без помощи экскаватора, то и дело роющего здесь канаву: кому-то очень нравится без конца менять водопроводные трубы в нашем государстве, заменять старые на гнилые. Или наоборот – гнилые на старые…

Итак, ветка отломилась, упала до земли, но держится ещё корой с Деревом, не хочет умирать. На этой ветке одичалые подростки нашего микрорайона устроили что-то вроде кают-кампании. Здесь вьются зловонные дымки, позвякивают стаканы, и, увы, не птичье чириканье оглашает окрестности…

Теперь, Ксюнчик, здесь не позагораешь, не понежишься в веерной тени…

* * *

“А это – сквер, в котором жил маленький Антончик…”

Это – планета его Детства. Это – его шиповник, его жасмин, его любимая липа, его приятель-клён… Здесь, на этих дорожках, он учился ходить. Тогда здесь не было столько мусора, была – трава, много травы, море травы… А на краю сквера стояла сторожка, и в ней обитали две молчаливые пожилые женщины, которые ухаживали за сквером, как за родным.

Где эта сторожка, где эти заботливые женские руки?

Шиповник постарел настолько, что перестал цвести, и даже

листвы почти нет на его корявых ветвях, одни шипы. А в пору Антошиного Детства он был цветущей, гудящей шмелиными голосами, вселенной… Здесь стояла *наша* скамья, сюда мы приходили по утрам. В любую погоду, во все времена года. И Шиповник, под нашими влюблёнными взглядами, цвёл до глубокой осени, до снега…

“Нет, он не постарел, наш сквер, он просто возмужал”, – говорю я себе. Разве он не прекрасен и сейчас, раскинув свои могучие ветви, вознеся свои кроны?…

Мы идём по Берёзовой Аллее, я качу коляску с шестимесячной любопытноглазой Ксюней, рядом – широко, по-мужски, шагает Антончик. Он редко гуляет с нами, почти никогда. Он стесняется. Это понятно… И потом – у него другие темпы.

Но сегодня – он с нами. И это – праздник для всех нас. Мы идём по Берёзовой Аллее; на её асфальте ты обожал рисовать цветными мелками. Кажется: твои рисунки, смытые временем и дождями, оживают под моим взглядом…

То и дело ты отделяешься от нас и стремительно взбираешься на очередную берёзу, я только успеваю запрокидывать голову… “Ксюша, привет!” – машешь ты с высоты, из ветвей. “Ксюша, а вот и я! Ты видишь меня?” Ксюша, напряжённо вглядываясь в шелестящую, шевелящуюся крону, отыскивает тебя взглядом! И возбуждённо-радостно дрыгает ручками и ножками – “бежит” к тебе!…

Ну вот, теперь это и Ксюшин сквер… Твой-и-Ксюшин.

* * *

Хожу по этим дворам, качу перед собой колясочку с дочкой и плачу о детстве сына, которое прошло…

* * *

МОЖЕТ ЛИ ПОСТАРЕТЬ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА?…

БЕЛЫЙ И РОЗОВЫЙ

Обязательно написать: про жасмин и про шиповник. Два куста по бокам дорожки. Каждый вечер мы с Ксюней навещаем их. И они дарят ей от своей июньской щедрости два цветка: белый и розовый. “Добрый вечер, Шиповник! Добрый вечер, Жасмин!”

Не забыть: лукавый смеющийся рот, набитый белыми и розовыми лепестками…

Теперь и у Ксюнчика есть *её* шиповник и *её* жасмин…

* * *

“Антончик, мне нужно кашку Ксюне сварить. Побудь с ней”.

Ксюня лежит в кроватке и заливается слезами…

О, как не любит она одиночества! Даже пять минут, да где там пять! – даже минута одиночества для неё уже испытание. За те мгновения, что я бегу из комнаты в кухню ополоснуть выброшенную за борт соску, за те коротенькие, почти не ощутимые для меня, взрослого человека, мгновения она успевает:

удивиться – “Куда это мама исчезла?”

испугаться – “Как же я теперь одна без неё?!”

отчаяться – “О, она уже не вернётся НИКОГДА!…”

И, залившись бурными, как Ниагарский водопад, слезами, успевает дойти до таких крайних пределов тоски и безнадёжности, – что, когда я возвращаюсь к ней с соской, я каждый раз застаю ребёнка, который, судя по его виду, оставался один не считанные мгновения – а целую вечность! И всю эту вечность он рыдал и рыдал… И вот я уже здесь, а она смотрит на меня – НЕ ВЕРЯ – и продолжает рыдать… Кажется, что она не видит и не слышит меня в эти первые минуты *воссоединения*. Она видит и слышит только своё горе…

Она ещё долго живёт в нём. В её глазах – космический испуг и страдание: “Я знаю, знаю, ты всё равно опять когда-нибудь уйдёшь!…”

Доктор Спок советует: “Наберитесь терпения и не обращайте внимания на слёзы”. Правда, он делает оговорку: “Если вы уверены, что с ребёнком всё в порядке”. (Имеется в виду, что ребёнок не голоден и у него сухие штанишки). Доктор Спок предлагает не заходить к крикуну ЧАС! И – уверяет – что через неделю плачи кончатся.

Но, Боже мой, можно ли заткнуть уши и не обращать внимание на дитя, которое так глубоко страдает? А то, что повод для слёз ничтожен, так это вижу лишь я – с колокольни своего возраста. А она, маленькая, не видит. Для неё я действительно каждый раз ухожу НАВСЕГДА. Как бы умираю. И когда я возвращаюсь к ней, она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не может вот так, сразу же, поверить в это.

И я поступаю не по Споку. Я беру свою немудрую дочь на руки и долго, долго хожу с ней по комнате, и воркую, и мурлычу, разгоняя её страхи, а она, уткнув мокрую мордашку мне в плечо, ещё долго жалуется, обнимая меня испуганными ручонками и вселенскими всхлипами…

Да, может быть, через неделю слёзы и кончились бы. Но – началась бы совсем другая жизнь. И в этой, другой, жизни моя девочка знала бы: “Я в этом мире одна. Кричи не кричи…”

“Побудь с Ксюней”, – прошу я Антона, если он дома. И это счастье, если он дома. Тогда можно не стоять у плиты с Ксюней на бедре, одной рукой обхватив её за талийку, а другой помешивая кашку.

(Потому что висит, висит над нами это угрожающее – “судорожная готовность”. А что такое опасность судорог у младенца в нашем царстве-государстве, где скорая помощь приходит через сорок минут… Страшно подумать.) Я ещё только направилась к двери, а Ксюня (ну, до чего проницательный ребёнок!) уже зашлась в крике… “Антоша, на помощь!” Рокировка: я – на кухню, Антон – к Ксюне.

Плач стихает мгновенно. Это удивительно. Или, наоборот, ничего удивительного? Ведь они, брат и сестра, с одной планеты. И хотя брат ростом почти с папу и говорит басом, всё равно проницательная наша девочка чувствует: ОН – СВОЙ! Он – такой же, как она. Он – Ребёнок! И эта однопланетность действует на маленькую сестру магически. Какой бы неутешной она ни была, – стоит брату отодвинуть шторку, за которой её кроватка, и сказать: “Ксюша, а вот и я!” – всё! слёзы как будто выключили, Ниагарский водопад мгновенно пересох. Зато расцветает улыбка, предназначенная только ему – брату.

Мне, чтобы утешить страдалицу, нужно максимально

выложиться. Антон же это делает одним своим появлением. Явлением! Он может всего лишь присесть рядом с ней на тахту, и молчать, и только смотреть на неё, – а она будет заворожённо смотреть на него и вздыхать от избытка чувств. Сколько раз я заставала такую картину: валяются на нашей обширной, с промятыми боками, тахте (много лет служившей Антону батутом), разговаривают глазами – на СВОЁМ языке, и только Ксюшины вздохи, вздохи блаженства – как невидимые наилегчайшие облачка, наполняющие пространство комнаты счастьем…

Вот и сейчас. Смотрит на него и ликует, повизгивая и похохатывая (о, этот Ксюнин хохоток!…) А Антончик к тому же рассказывает! А рассказывает он всегда о вещах удивительных. Сегодня, например: “Слушай, Ксюня, уравнение…” (Брат готовится к экзамену по математике). Сидит рядышком, решает и по ходу дела объясняет что-то Ксюньке из высшей математики. Она – счастлива. “Так смотрит!… – изумляется Антон. – Можно подумать, что понимает”. – “Очень многое понимает”. – “Ну, мамася, не преувеличивай!” – “Я же не о формулах…”

А перед Антоновым экзаменом по литературе пятимесячная Ксения впитывала в себя Лермонтова и Пушкина, и других не менее достойных классиков.

“Печально я гляжу на ваше поколенье…” – гремит в комнате Антонов баритон. Ксюнчик смотрит на брата во все глаза – кругло-кругло! – внимает и – вздыхает…

– Какая прекрасная у вас разница в возрасте! – говорю я.

Они – не возражают.

Такие удивительные и таинственные (для меня, взрослой) отношения у моих деток.

“Она так бурно радуется при виде меня…” – в Антоновом голосе смущение и нежность.

– Она тебя очень любит.

– Да и я её вроде… (“Вроде” – от мальчишеского подросткового стеснения).

* * *

А ведь действительно ещё ребёнок! Хоть и баритон, и усики, и росток – ого-го! И уравнения решает такие, что папочка со своим мехматским образованием не всегда может одолеть.

“Антон, это ты открутил ногу у куклы?” – “Ну, мамася,

прости, я же не виноват, что она оказалась такой непрочной!”

“Антон, это ты сгрыз Ксюнькино колечко?” – “Ну, простите, родители дорогие, злодея, я же не нарочно!”

“Антон, это ты…”

* * *

Ксюшина коляска – после общения Ксюши с лиственницей – похожа на лужайку: здесь и общипанная хвоя, и паучки бегают, и даже гусеничка забрела…

НАШ ФЕЛИКС

– А кто будет крёстным отцом у нашего ребёночка?… – спросила я тебя ещё задолго до Ксюшиного рождения.

И услышала ответ, в котором не сомневалась:

– Ну, конечно, Феликс! Какие могут быть сомнения?

– Никаких.

Наш Феликс. С которым нас связывают множество нитей и ниточек: любви, духовного родства, творчества, воспоминаний…

Странно: мы учились с ним шесть лет в Литературном институте, но никогда не общались. Лишь один раз дошли вместе до метро.

А потом, уже после института, почти одновременно, вышли наши книги, его – прозы, моя – поэзии, и, встретившись случайно на улице, мы подарили их друг другу.

Прочли…

Тут-то всё и началось. “Почему же мы с тобой раньше не общались?! Какой ужас: десять лет для общения потеряно…”

Прошло ещё несколько лет, и Феликс, наконец, приехал в гости на Речвок. С Гавром они ещё знакомы не были.

Вошёл. Они протянули друг другу руки для рукопожатия, и Феликс воскликнул: “Боже мой, какое родное лицо!” Они удивлённно смотрели друг на друга, силясь вспомнить: откуда же они друг друга знают?…

Не сразу, но вспомнили. Да они учились когда-то в одной школе! Когда-то – четверть века назад. Только Феликс – классом младше. И мама Гавра – преподаватель русского языка и литературы – была любимой учительницей худенького очкарика с тёмным кудрявым чубчиком. А как-то раз Гавр-восьмиклассник подменял заболевшую маму, что даёт ему теперь основания с гордостью заявлять: “Писатель Феликс В. – мой ученик! Когда он был ещё маленьким и учился в школе, я преподавал ему литературу.”

Наш Феликс – человек-роман. В нём постоянно живут сотни героев, бурлят сотни сюжетов…

Вот он идёт по улице – уставший и грустный, озабоченный теми же проблемами, что и мы: вечная нехватка денег, вечное “не печатают!” Идёт медленной, чисто романической походкой – в такт тому, что пишется в эту минуту у него внутри… Однажды я проезжала в троллейбусе по Кудринской и видела нашего

Феликса из окна. – По улице шёл писатель! Это было видно невооружённым глазом. Да не просто сочинитель каких-нибудь юморесок, а именно – *романист*. Высокий, выше многих, суетливо обгоняющих его, в широковатом пальто и старомодной шляпе, с грустно-внимательным взглядом за толстыми линзами очков, делающими его глаза огромными – как у ночной птицы…

Феликс – нежная добрая душа. Вот он идёт по улице – вроде бы совершенно отрешённый ото всего, что вокруг. Я подчеркиваю: "вроде бы". Потому что, как бы он ни был погружён в свой внутренний сюжет, – его глаза внимательной птицы мгновенно выхватывают из сутолочного сюжета улицы тех персонажей, кому в данную минуту нужна экстренная помощь: вот бабушка, обвешанная авоськами, не может вскарабкаться на подножку трамвая, вот странного вида мужичок прилёг на пыльной обочине, вот беременная женщина с коляской не может перейти кишащий перекрёсток… Наш Феликс – тут как тут. Поддержит, подсадит, подымет, дотащит, переведёт…

И потом долго будет вспоминать. Нет, не своё благодеяние, а – "Какие глаза были у этого старика, если б вы видели!", "Господи, как же она таскает эти сумки, маленькая, слабая, как ребёнок…"

Каждый человек, с которым сводит его судьба, пусть даже на минуту, навсегда входит в его душу. Входит – и начинает там жить, накрепко вплетаясь во внутренний сюжет…

А ещё в этом внутреннем сюжете живёт ДОМ. Мечта о доме. В котором ждала бы его (такого, как есть: уже не очень юного, не богатырского здоровья и не ахти какого везучего) – Прекрасная Женщина… Умная, добрая и всё понимающая. Не ревнующая его к писательству, к сыну-подростку и к старенькой маме.

И сколько бы раз он ни ошибался, сколько бы раз действительность не смеялась ему в лицо, – мечта о Доме и о Прекрасной Женщине вновь и вновь восстаёт из пепла, как Феникс…

Феликс… Феникс… Случайно ли это созвучие?…

И нам хочется того же: Дома для Феликса. В котором бы жила, не умирая, его Прекрасная Феникс. Ты слышишь, Феликс?

Друг. Брат.

Глядя на него, как-то особенно остро ощущаю, что все мы – братья и сёстры: от одной Праматери, от одного Отца.

Все мы – братья и сёстры, только одни это ощущают, а другие – почему-то нет…

КЛЕР

Да, это её настоящее имя – Клер. Что по-французски – *светлая*.

Она родилась в Багдаде, её детство и юность прошли в Париже. А потом Клер с родителями приехала в Россию.

…Иногда под вечер раздаётся телефонный звонок – и я слышу в трубке лучезарный голос, от которого сама трубка начинает светиться: “Друзья! Ну, куда же вы пропали? Заходите вечерком на чашечку чая…”

Феликс, впервые увидев Клер, с восхищением воскликнул: “Настоящая кустодиевская дама!”

Но разве кустодиевские дамы способны порхать, как бабочки? А Клер – порхает! Не знаю женщины более грациозной, чем она. Нет, не кустодиевская дама, – королева! Её королевское величество. При этом – невероятная хохотушка!

Вглядевшись в её глаза, понимаешь: *это человек, который не сдаётся*.

Каждый день у королевы Клер – битва. Другая на её месте давно бы сникла, сдалась: села бы и не сдвинулась уже с места, а только бы причитала: “Ноги мои, ноги! мои больные ноги!…”

Бывают дни: ноги не хотят донести её величество до ближайшей булочной. А то и просто от комнаты до кухни. Но она говорит себе: “Иди! Встань и иди!” – и резким рывком выталкивает себя из старого кресла. “Клер, вам помочь?” – “Ну, что вы, что вы! Я – сама. Это же совсем не трудно…”

Каждый день – преодоление. Победа духа над плотью.

Живя в России уже более тридцати лет, русская по крови, из старинного дворянского рода, по-русски гостеприимная и хлебосольная, Клер по духу остаётся парижанкой. И в московских очередях, и с продуктовыми сумками в руках, и в фартуке у плиты она остаётся парижанкой: неунывающей, остроумной, грациозной.

Что же это за воздух такой особенный – парижский – что, надышавшись им в детстве и юности, человек делается неуязвимым для скуки и уныния? Когда ей тяжело, она не жалуется и не ропщет, о нет! Она и в эти минуты остаётся парижанкой: она – смеётся! Смеётся громко и заразительно, бросая своим отчаянным смехом вызов судьбе…

О том, как трудно ей на самом деле живётся, и какая неизбывная печаль захлёстывает её порою, – мало кто знает…

Повсюду в их доме – среди книг и картин – фотографии сына.

Который не успел стать даже подростком…

Она хранит его игрушки. И говорит о своём мальчике так, словно он где-то здесь – близко, рядом.

…Живя так давно в России, Клер не расстаётся с языком своего детства: её душа плещется в нём, как в океане…

Она учит французскому. Учит самозабвенно и вдохновенно, как она делает вообще всё. Она влюблена в своих учеников. Она говорит: “Когда я даю урок, я просто счастлива!”

Ещё она переводит. И пишет учебники. И комметарии к разным французским авторам. И даёт уроки итальянского… Вообще европейские языки для неё не проблема: как перейти из одной комнаты в другую.

Однажды мы слышали, как Клер читала вслух в подлиннике “Божественную комедию”. Казалось: сам Данте вслушивается в рокочущие обертоны этого океанического голоса…

Они живут от нас через дом – Клер и её муж, художник В. Она называет его ласково – Валя, а знакомые дети говорят ему шутливо: “Дядя Волк”.

Художник В. – живописец. Один из интереснейших в сегодняшней России. Чтобы это понять, стоит взглянуть на его “Гранаты”. Хотя бы только на “Гранаты”!

Мгновенно ощутишь оскомину на зубах, жар и истому полуденного азиатского лета, и даже лёгкое головокружение от ударивших в голову густых, пряных и терпких, запахов… От нахлынувших детских воспоминаний… Хотя умом помнишь: никогда в том краю не бывал. Но от чего тогда это пронзительное ощущение: что-то дорогое, но забытое вернулось к тебе?…

Так и стоишь перед картиной, ошалев, с сведенными оскоминой скулами, весь пропитанный гранатовым соком…

А его “Восточные базары”! Эти энергичные, напоённые жарким зноем мазки! А “Ночной Каир”!… Огромная, густая тьма, густо и волнующе населённая огнями, тенями, силуэтами и, полным тайны, движением…

Живописец от Бога. Об этом знают в Египте и в Америке. Там устраивались его персональные выставки, там восторженный народ толпился в залах, там выходили каталоги… Но дома, в России, о художнике В. мало кто знает, разве что истинные ценители. И когда он выгуливает во дворе собаку, или стоит в ближайшем гастрономе за молоком, такой неприметный с виду, в вельветовой курточке и своём всегдашнем чёрном берете, никто не подбегает к нему и не просит у него автограф. А жаль!…

Что представляет собой квартира наших удивительных соседей? – Это маленький парижский салон и московская мастерская художника – одновременно. Здесь можно встретить улыбчивых, раскованных французов и швейцарцев, здесь звучит лёгкая, пьянящая французская речь, здесь царит дух феерических пирогов (о, хлебосольство и кулинарный талант у Клер чисто русские!) И, в этих же стенах, – мастерская художника-нелюдима, полностью погружённого в свой пёстрый, красочный мир…

Две галактики – Клер и Валерий – живут под одной крышей, не затмевая одна другую, но лишь озаряя друг друга особым светом. Трудно себе представить мужа и жену столь не схожих между собой. Но ещё труднее представить Клер без Валерия, а Валерия без Клер.

Мы знакомы уже восемнадцать лет. Нет, не часто мы забегаем к ним на огонёк, увы, не часто. Не так просто вырваться из круговерти дел… Но когда мы всё же вырываемся – и окунаемся в этот мир, полный гениальных картин и гениального Парижа, – то возвращаемся домой захмелевшие, словно бы надышавшись воздухом альпийских лугов…

Нет, я никогда не гуляла по альпийским лугам. Но вот пришло на ум это сравнение, и почему-то кажется, что оно не случайно…

А с появлением Ксюши наши отношения с Клер и Валерием перешли в новую фазу. Незримо перекинулся между нашими домами ещё один мостик.

И мы вскоре поняли, что Клер – именно та женщина, которую мы хотели бы видеть у Ксюшиной купели…

КРЕЩЕНИЕ

Июньское утро, полное света, птичьего щебета и запахов цветущей земли…

Если взглянуть с нашего, тринадцатого, этажа вниз, то кажется, будто дом плывёт по белым волнам… – по кронам белопенных каштанов, яблонь и рябин… Так было год назад, когда об этом дне только мечталось, – так и сейчас.

Запомним этот день: 28 июня 1990 года.

На чистом голубом горизонте приветственно белеет Куркинская церковь. Утренний взгляд на Куркинскую церковь – как коротенький диалог с Богом.

Тебе полгода. Ты спишь на лоджии, спелёнутая цветочными запахами и свежим ветерком, дующим с канала. Спишь, не ведая, что в комнате в это время совершается великое приготовление…

Каптеревский стол выдвинут на середину. И на него водружена – КУПЕЛЬ! Большой сверкающий таз, с разбросанными по кромке красными и синими звёздочками астр…

Однажды этот таз уже служил купелью. Тринадцать лет тому назад в него окунали девятимесячного Антона…

Пришли наш Феликс и наша Клер. Приехал священник. Он молод, он монах, у него ласковые, весёлые глаза. Его зовут отец Константин. Облачившись в рясу, он качается в кресле-качалке, пока мы суетимся в последних приготовлениях… Свечечки, рубашечка, простынка, ножнички…

Наконец, всё готово, и я вношу тебя с лоджии. Ты с удивлением всматриваешься в незнакомые лица, которые все с улыбками обращены к тебе.

Тихая и чуткая, сидишь у меня на коленях.

Начинается одно из величайших и непостижимых таинств – рождение человека во Христе. Твой второй день рождения, доченька. Все мы ужасно волнуемся – пятеро взрослых. Спокойнее всех Антон. Не считая своего собственного крещения, это – первое, на котором он присутствует. Жадно впитывает происходящее.

С такой же жадностью впитываешь всё происходящее и ты, моя девочка. В последние минуты своего язычества…

Огоньки свечечек трепещут в прозрачном воздухе маленькой церкви, которой стала наша комната. Ласковый голос отца Константина обретает таинственную силу…

Звучат молитвы. Старые добрые молитвы, которые звучат на земле уже почти две тысячи лет… И наш общий Отец, Который

всегда слышит их, и Который не может не откликнуться на них, – незримо присутствует среди нас в нашем маленьком храме.

Потоки солнечного света просвечивают воды тихой купели… Тяжёлый серебрянный крест опускается в купель…

И вот уже… – это воды священного Иордана!

Невозможно постичь умом, но можно только принять благоговейно, принять и почувствовать:

да! с этой минуты – это воды священного Иордана плещутся в маленькой купели…

да! это воды реки, не знающей границ и берегов, без труда входящие в любой дом, в любой водоём…

да! это воды древнего Иордана, помнящие Иоанна Крестителя и Христа – как будто это было всё вчера…

И вот уже священник берёт тебя от меня, коротким всхлипом выразившую своё удивление. Но тут же притихшую. И окунает тебя в священные струи Иордана… Трижды поливая на русенькую вихрастую головку, смывает с тебя язычество и незнание, приобщая к несметной семье входящих в эти воды до тебя…

Что происходит в эти мгновения в твоей душе, – об этом знает только твоя душа и Бог. И когда локонок твоих волос, запечатанный воском, окунается в купель… и когда твои крёстные несут тебя вокруг купели… – только твоя душа и Бог.

Потом тебя опять вручают мне.

Вот ты и христианка. Теперь мы с тобой не только мать и дочь, теперь мы ещё и сёстры. Здравствуй, сестра моя во Христе Ксения!

Но это – только начало пути…

И отец Константин говорит нам напутственные слова. Он говорит о трёх рождениях человека. О том, что через два рождения ты уже прошла. А впереди у тебя, так же, как у каждого из нас, – третье рождение: смерть. И наш, родительский, долг помочь тебе приготовиться к третьему рождению…

При этих словах сердце моё больно сжимается.

И больно смотреть на Клер…

Господи, почему так больно? Неужели вера моя так слаба?… Укрепи, Господи. Дай сил на все испытания, которые ты уготовил нам. И даруй нашей девочке жизнь долгую! Пусть она живёт долго и счастливо, Господи!

* * *

“10 августа 1990 года.

Милый, милый Володя!

Ничего не знаем о тебе. Дозвониться невозможно. Добраться пока тоже…

Надеюсь, ты не в обиде на меня (на всех нас) за редкость наших писем. Они пишутся! Они идут к тебе! Ты должен это чувствовать. Пожалуйста, чувствуй, ладно?

Немного о нашей жизни. Она остаётся пока очень напряжённой (хотя и радостной – это само собой). Ксюша растёт… Уже сидит, уже лепечет, свистит, фырчит, напевает свои чудесные вокализы… Уже говорит “папа”, чем вводит адресата в счастливый транс. Обожает Антона. Обожает колотить по клавишам компьютера и внимательно смотрит при этом на экран: что там изобразилось? Умна, любознательна, приветлива. Ах, Володечка, как хотелось бы, чтобы ты её увидел! Она бы тебе очень понравилась. В неё невозможно не влюбиться! Это такое невероятное сероглазое существо с каштановым хохолком. Именно СЕРОглазое. Не сине-, не голубо-, а СЕРО!… Я таких серых глаз в своей жизни ещё не видела! Это о Ксюшиных глазках поёт Новелла Матвеева:

> “А под этим капюшоном,
> Синим снегом опушённым, –
> Как стальная полоса –
> неподкупные глаза…”

Это – о нашей Ксюше.

И при этом – море лукавства и самых чудесных, неотразимых улыбочек…

А напряжёнка наша – от Ксюшиного сна. Точнее – от НЕСНА. Почти не спит днём. (А ведь она ещё маленькая, ей нужно спать). Точнее – спит, но такими крошечными квантами, и так чутко, так прозрачно… – Нельзя рядом с её колясочкой ни вздохнуть, ни шевельнуться. А вечерами – головные боли и слёзы, конечно; а вечерами я часто с нею одна (ведь Гавр допоздна работает, а Антончик бегает на каратэ). Рыдающий, изнемогающий от усталости и от невозможности уснуть ребёнок на ОДНИХ руках… (При этом надо изловчиться приготовить ужин и ей, и всем нам. И ещё много-много другого).

Антон тоже был на одних моих руках и тоже мало спал днём, но зато, начиная с полугода, от “отключался” в восемь вечера и уже спал до утра. Так что весь вечер был мой: можно было успеть и всё по хозяйству, даже в магазин сбегать, и поработать тоже. И курсовую написать. И дневник его я писала регулярно. А сколько

читать приходилось!… Ведь когда он родился, я была только на третьем курсе. Так что институт мы одолели вместе.

Ксюня же засыпает в одиннадцатом часу. Вчера вот – в одиннадцать. И я после этого уже мало на что способна, хотя ещё уйма дел каждодневных, точнее – еженощных… Спать ложусь часа в два. И это при том, что ребята мои мне помогают, но всё равно – много чисто женских дел.

Как наладить Ксюшин сон? – Не знаю. Мы делаем всё возможное: хороший доктор (внук доктора Гааза!) + лекарства + хорошая массажистка + гуляния + купания и т.д. Но результаты пока мало ощутимы. Хотя… кто знает? Кто знает, как было бы, если бы мы не старались?…

Только не подумай, Володечка, что я жалуюсь! (Разве можно жаловаться на СЧАСТЬЕ?) Просто обрисовываю пунктиром сегодняшнюю свою ситуацию: Ксюшина бессонница – мой недосып – моя обострившаяся язва – мой разгулявшийся остеохондроз – Антошин переломный возраст… И т.д. Плюс хозяйство, кухня и т.п.

Ты спросишь: успеваю ли я при этом работать?

Если считать, что писательская работа – это прежде всего работа думательная, мыслительная, – то я работаю круглые сутки. С этим всё в порядке. Только вот записать пока что не представляется возможности…

Но зато мы с Антоном ездили на Ипподром в школу верховой езды! Прошли теоретический курс; и Антон даже оседлал и взнуздал своего вороного Барона и ездил на нём! То есть – скакал. А я к своей Бритве даже не подошла… Ну, не могла я подойти к лошади по имени Бритва! (Да, Володя, струсила. Видимо, сработал инстинкт самосохранения кормящей матери). Но теоретический курс я прошла. И квиточек, по которому мне в *любой* день дадут лошадь для скаканья, у меня есть!…

А ещё Антон увлёкся каратэ (после моих многолетних призывов заняться спортом), и уже через месяц так преобразился!

А Саньку – практически не видим. Увы! То есть совершенно! За полгода выбрался к нам на пару часов. Это, конечно, маловато для полноценного общения. Зимой был весь в учёбе, летом – в экспедициях: вернувшись из Крыма, тут же уехал в Хибины; вернувшись из Хибин – уехал в Боровск. Мы, конечно, понимаем, что это – нормальная юношеская ненасытность и жажда побывать везде и всё успеть, – но всё равно очень скучаем по нему и грустим, что он взрослеет и мужает вдали от нас… Быть родителями – не только радостно, но и больно.

Зато Анюта общается с папочкой каждый день, будучи его подчинённой. Но здесь, на Речвоке, мы видим её не так часто, как

прежде…

А Гавр в настоящий момент весь в журнале, который он делает… с Анютой и Феликсом! Так их жизнь всех свела на одной работе. Наш Феликс ещё и художник, его взяли в журнал художником. И хотя журнал не очень большого объема и чисто программистский, но всё равно – ЖУРНАЛ! А у Гавра никакого опыта пока журнально-издательской деятельности. Для него это всё ново и неожиданно; он надеялся НЕ быть главным редактором; но судьба повернула в эту сторону.

Тебе, Володечка, от него ОГРОМНЫЙ привет! Могу засвидетельствовать: твой крёстный тебя очень любит. И я. И все мы. И Ксюша, конечно! Она эту любовь к тебе всасывает с молоком матери.

Хочу получить от тебя письмо. Это надо же: всего два с половиной часа езды – и полная невозможность повидаться! (Пока что).

Привет всем вашим от всех нас.

Обнимаю тебя."

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИСАТЬ:

Первый раз на бухте. Про то, как Ксюша увидела БОЛЬШУЮ ВОДУ! Про то, как загорала, лежа – крошечная! – рядом с длинным-предлинным Антоном… Господи, какие чудесные у меня детки!

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИСАТЬ:

Про затмение солнца. Про то, как мы бегали среди ночи с Антончиком на крышу соседнего дома и гуляли там, дожидаясь восхода… (Надо сознаться, я немного трусила, когда мы сюда взбирались. Антончик смеётся: “Ну, ты убедилась, что никаких бомжей тут нет?” Да, я стала немного трусихой с возрастом. Но ведь я же с этим борюсь! Я же пришла на крышу! И на лошадь когда-нибудь сяду! Особенно если она будет с другим именем).

А ночь была чудесная – прозрачная и тёплая. И, наконец, оно взошло над горизонтом – огромный, пылающий сахарной алостью, арбузный ломоть! Ну и красотища!…

Не выдержали, побежали будить папочку. Он упирался, ворчал, что хочет спать. “Как – спать?! Ведь ТАКОГО в этом тысячелетии уже не будет!” Стащили его с одра сна и, сонного, в тапочках, повели на крышу – любоваться!

Он потом радовался и говорил: “Здорово, что вы меня разбудили”.

А Ксюнька в это время сознательно спала…

ДВАЖДЫ ДВАДЦАТЬ (страничка из дневника),

или КРАСНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ

Ксюша спит под берёзами… Ей сегодня 30 недель!

Я свои сорок лет встретила без страха. Но – с недоумением: неужели так скоро?… Вроде только что отмечала двадцатилетие. Помню: как будто вчера шумел дождь 13 июля 1970 года… Мои институтские подруги привезли мне в подарок кресло-качалку. Это была моя голубая мечта: сидеть в кресле-качалке и сочинять стихи. И они высмотрели его на ярмарке в Лужниках, и на такси, под проливным дождем…

Открыла двери – и ахнула!

Потом в этом кресле, как в скрипучей лодке, много лет качался Антончик. Теперь для кресла настаёт эпоха Ксюнечки.

Если б ни Ксюнечка, мне были бы тяжелы мои 40 лет. Они означали бы – невозможность встречи с моей девочкой. Но она – со мной! С нами. И мне весело, мне не страшно.

Прыг-скок! Прыг-скок! Прыг-скок! Бабки у подъезда смотрят на меня с любопытством. А ты счастливо смеёшься и говоришь мне: “Это *ты* боишься старости?” – Я. – “А я думаю, что не каждая школьница так ловко скачет в классики, как моя жена! Тебе старость не грозит”.

Прыг-скок! Прыг-скок! Смотри, Ксюнечка, учись. Прыг-скок! Оказывается, сорок – это просто дважды двадцать! Двадцать лет – прекрасный возраст. Дважды двадцать – прекраснее вдвойне!

Смущает только одно: слишком быстро… Что, если и дальше пойдёт с такой же скоростью?…

Надеялась, что с приходом Ксюши (так же, как когда-то с приходом Антоши) время замедлит свой бег. Но оно продолжает нестись… Слишком быстро проходит Ксюшино Первое Лето. Наверное, мне не так трудно, как когда-то одной с Антошей? Хотя – с другой стороны – труднее. Сердце моё всё время разрывается на-трое. И мысли – так же.

Но каким прекрасным был день 13 июля! В этот день, как и двадцать лет назад, мне пришлось ахнуть от изумления. Утром Антончик уехал на каратэ. Потом, где-то перед обедом, звонок в двери. Открываю…

На пороге – Антончик! Улыбка, полная нежности и смущения.

А в руках – огромный, гигантский, исполинский букет КРАСНЫХ ГЛАДИОЛУСОВ! “Тебе, мамася…”

“Боже мой, сынок, какое чудо! Откуда?!” – “Самые большие выбрал!” – с гордостью говорит он.

Потом мы их меряли: Ксюшу и Гладиолусы. Гладиолусы в два раза выше семимесячной Ксюши. Она на них взирала, запрокинув голову, – как на сказочные деревья!…

* * *

Девочка моя спит под берёзами…

Трудно вспомнить главное, чем памятен каждый из прошедших семи наших-с-Ксюшей месяцев… Потому что все дни этих месяцев, дни этих тридцати волшебных недель, не будучи разграничены хоть сколько-нибудь полноценными ночами, а лишь краткими задрёмываниями посреди ВЕЛИКОГО НЕ-СНА, – эти дни слились, сплелись как бы в ОДИН ОГРОМНЫЙ ДЕНЬ. День, в котором до краев – радости и переживаний, лукавых улыбочек нашей дочки и её невыносимо жалобного плача: день бессчётных пеленаний-кормлений-купаний-переодеваний-гуляний, болей в животике и ежевечерних головных болей у нашей крошки; день напряжённых разговоров то с Гавром, то с Антошей, хотя потом оказывалось, что можно было и не психовать, что нужно было просто отоспаться; но отоспаться ещё долго не будет возможности, и усталость (куда от неё денешься?) копится, и страхи (терзавшие меня девять месяцев *ожидания*) ещё не отошли далеко, и язва моя, как и положено ей весной, открылась и допекает меня изрядно; и всё это сбивается порой в такой клубок, что посреди этого бесконечно счастливого дня случаются совершенно отчаянные минуты (хотелось бы сказать: случались…)

Но все остальные минуты ЭТОГО ДНЯ так плотно наполнены счастьем – как пчелиные соты мёдом – что грех жаловаться. ЭТОТ ДЕНЬ – вороха мокрых пелёнок и ползунков, вечером их перелопачивает папочка, но и на мою долю их достаётся немало (о, счастье!); комната, унизанная верёвками с сохнущим на них круглосуточно Ксюшиным бельишком, похожа на сказочный театр; заполночные ужины и чаепития, когда глаза слипаются, язык от усталости заплетается, руки еле держат чашку, ноги уже не могут дойти до постели, – а в ванной очередной ворох пелёнок, а мне ещё кормить Ксюнечку, а потом в душ, а потом

опять, уже вымирая от усталости, что-то жевать на тёмной кухне (двигаясь тихо, как кошка, чтобы не разбудить чутко спящего Антона), и опять пить чай – чтобы пришло молоко к утреннему кормлению…

Сейчас – один из лучших часов НАШЕГО ДНЯ: предполночь, которая неотвратимо переходит в заполночь, но вместо того, чтобы ловить тихую минуту и быстренько спать-спать-спать! – вместо этого разумного и насущного, мы втроём (я, Антончик и Гавр) продолжаем сидеть за нашим вечерним, полночным чаем: потому что общение для нас – насущнее сна, превыше сна; и невозможно расстаться, потому что скучаем друг о друге, хоть и всё время вместе, и невозможно наговориться, наспориться, наудивляться друг другу: о, о чём мы только не переговорили на нашей кухне в наши шальные полночи!… Пока Антончик не взмолится: “Всё, опадаю! Гасите свет!” Но и когда он рухнет на свой диванчик (который ему уже короток), это вовсе не значит, что конец. Порой это только начало…

Стремительно растущая и радостно удивляющая нас Ксюша. Стремительно растущий и радостно удивляющий нас Антон. Две галактики… Мы с папочкой – познаватели этих миров. Это – наша основная работа. Самая главная. Есть, конечно, ещё наша писательская и наша философская работа, от неё никуда не денешься, не спрячешься ни за какие вороха пелёнок, ни за какие полночные беседы с сыном. Но мы и не прячемся. Все наши работы совершаются одновременно. Более того: наша писательская работа (по крайней мере – для меня, это уж точно) вся держится, как на китах, на родительской работе. На любви к нашим деткам…

Вот и Ксюнечка проснулась…"

МЫСЛИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С СЫНОМ

Счастливый человек не мечтает о будущем. Это естественно. Это нормально. Ненормально, когда человек живёт только будущим: вот вырасту, вот стану взрослым, вот буду делать, что захочу, вот уеду наконец от родителей, буду общаться, с кем захочу, буду ходить, куда захочу…

Свободный и счастливый всё это имеет. Уже сегодня. Он ценит сегодняшний день, а не завтрашние иллюзии… Я знаю людей, которые жили мечтой о пенсии. Да, да, не смейся! “Вот выйду на пенсию, стану свободным, буду делать, что захочу: читать, общаться с друзьями, думать…” Это ужасно грустно, когда человек не живёт, а только уповает: вот настанет когда-нибудь время – и начну жить настоящей жизнью… Так что я вовсе не огорчаюсь, что ты не мечтаешь: куда пойти учиться?… Ой, Ксюша плачет! Но ведь мы ещё договорим с тобой, правда?

О ПРЕДРАССУДКАХ

“Но ведь это же предрассудки: котлету вилкой! Кто-то придумал, а я почему-то должен этому следовать. Рукой гораздо удобнее!”

И это – в десятый (или – в сотый?) раз. Тебе пятнадцатый год, ты умный, красивый мальчик, уже юноша! – выше меня на голову, “тютчевская” бородка пробивается… Неужели непонятно, почему котлету – вилкой? Почему такие простые вещи – и никак? “Представь: ты в смокинге, тебе только что вручили нобелевскую премию, торжественный приём, и ты – котлету лапой!” – “А кому от этого будет плохо?”

Да, в общем-то, наверное, никому…

Разве что кто-то удивится. Кто-то – посмеётся.

А, может, это вовсе и не подростковый нигилизм? Может, это в тебе говорит клоунское начало? (Не я ли мечтала, чтобы мой сын стал клоуном? Не я ли – ещё недавно! – радовалась твоим эксцентрическим поступкам, твоим парадоксальным суждениям?)

Может, это ты отрабатываешь свои будущие репризы, когда хватаешь лапой котлету со сковороды? Когда оглушительно чихаешь – так, что закладывает уши, если стоять рядом? Когда заглатываешь единым глотком стакан газировки? Когда колотишь в обиде спинку дивана, об которую саданулся коленом? Или бранишься на вылетевшую с грохотом кастрюлю из шкафа? Может…

Ведь мы же от души хохочем над Чарли Чаплиным, над Карандашом, над Фернанделем. Нам и в голову не придёт упрекать их в дурных манерах! Более того – мы благодарны им за то, что они *такие*. Мы даже завидуем им немного… Они *так* могут, мы – нет.

Может, я не с дурными манерами сына борюсь – а с его призванием?

* * *

Наведу ли я когда-нибудь порядок в нашем доме? Или этот беспорядок и есть наш речвокский порядок вещей?

Погремушки между учебниками на Антоновом столе, соска на компьютере, соски повсюду!… Рукописи, мои и Гавра, вперемешку с листочками, на которых: кормления, гуляния,

купания… Вперемешку с Володиными письмами, гороскопами, бюллетенями по обмену жилплощади, вперемешку с черновиками моих писем Петру Яковлевичу, Анютиными рисунками, Антошиными многодействиями и Ксюшиными, рассеянными по дому, слюнявчиками…

Заваленный игрушками Дом, опутанный счастливым серпантином пелёнок-ползунков-распашонок… Что для нашего дома означало бы ПОРЯДОК? Ей, Богу, не знаю…

И вообще – что есть ПОРЯДОК в высшем смысле этого слова? (Думаю я, засовывая протестующую Ксюню в манеж, и – бегом на кухню: готовить ей обед).

Итак, что есть ПОРЯДОК? (Продолжаю я мысленную работу, а руки тем временем моют, шинкуют, размешивают…)

Должно быть – СМЫСЛ. Чтобы всё в доме (в Доме!) было со смыслом, чтобы ничего лишнего и случайного. Чтобы каждая вещь жила своей истинной жизнью, исполняла бы своё предназначение. А вовсе не то, когда непонятно как набежавшие в дом предметы аккуратно-бессмысленно разложены по полочкам…

(“Ах, опять убежало это молоко!” Оказывается – я сижу на Антошином диванчике с клочком бумаги и карандашом, выдернутым у него из рук, и торопливо записываю эту мысль. Ксюня усиливает свои призывы. Антон, прихватив учебник литовского языка, уходит к ней в комнату… Антон – настоящий товарищ. Слышен счастливый Ксюнин взвизг – значит, можно додумать…)

Итак, ПОРЯДОК. Когда ничего лишнего и случайного. В таком – Божественном – смысле слова в нашем Доме истинный порядок вещей. Здесь даже пылинки нет случайной… Здесь каждый микрон пространства насыщен нашей общей жизнью.

Порядок нашего Дома – это порядок летней лужайки: всё вперемешку, пёстро, радостно…

КРАСНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ

Они всё ещё стоят и не увядают, а раскрывают всё новые и новые тёмно-красные бархатные цветы… Дважды двадцать – это совсем не страшно, говорю я себе. Теперь ты это видишь?

* * *

Ксюнчик спит под берёзами… Только здесь она и спит. Правда, не сама по себе, а после продолжительного-таки укачивания, после которого руки гудят, как после хорошей тренировки.

Ксюнчику семь месяцев. Ксюнчик – самый эмоциональный, самый пылкий на свете ребёнок! Самый жадный до новых впечатлений. Самый ненасытный. От недостатка новизны она… заболевает. Ей всё время нужна пища для созерцания, для медитации, для щупанья, для шуршания, для грызения, для лизания… И чем больше – тем лучше! Она не устаёт от обилия, она устаёт от недостатка!

Она любит ехать, ехать, ехать… Смотреть, смотреть, смотреть… Щупать, щупать, щупать… Деревья, небо, облака, птички, собаки, дети, – всё это Ксюша уже ЗНАЕТ, всё отыскивает взглядом, если спросить: “Ксюша, а где небо? А где берёзы?”

А если не ехать никуда, если быть дома, то – в обществе! Ксюша не выносит, НЕ ВЫНОСИТ!!! одиночества.

* * *

Какое, оказывается, блаженство – купить дочке Первое Платьице!

* * *

“Первое платье – цвета яркого апельсина. Надела. Крошечное

платье оказалось Ксюне до пят. Антон – скептически:

– По-моему, она в этом платье как в мешке.

– А по-моему, она очаровательна!

– Она и в пелёнках очаровательна.

Сказал. Понял – что комплимент. Засмущался. Вообще, Антон к сестре относится с большой нежностью, но всё ещё робеет. Ещё ни разу не погладил её по головке! “Стесняюсь… Всё-таки женщина… И вообще – такая маленькая… Страшно как-то…”

Но сегодня! Сегодня…"

(запись была прервана пробуждением Ксюши)

* * *

…Он держал её на коленях, и вид у него был смущённый и торжественный – как когда я открыла двери и увидела его с гигантским букетом дивных тёмно-красных гладиолусов…

– Наверное, она мокренькая? – сказала я, заглянув в комнату и застав эту чудную картину: брат держит на коленях сестру!

– Конечно, *была* мокренькая. Но я её уже переодел.

А ведь совсем ещё недавно: “Ой, мамася, не могу, стесняюсь… всё-таки женщина…”

* * *

“21августа 1990 года.

Милый, дорогой Володя!

Только что говорили с тобой по телефону… Спасибо, что дозвонился до нас, молчаливых.

Всегда, когда у меня опускаются от усталости и безнадёжности руки, – я вспоминаю тебя. И мне становится стыдно за свою минутную слабость. Спасибо, друг мой хороший, я постоянно ощущаю твою поддержку. Мало с кем мне так легко и надёжно, как с тобой. Круг близких друзей всё уже… Не теряю надежды познакомить тебя с этим кругом.

Впрочем, одного из них ты знаешь по моей повести. Это – Доктор из “Звезды с Японского моря”. Мы дружим уже восемь лет. Это такой космический сгусток доброты!

Другой человек – наш Феликс, писатель, мой институтский

друг. А теперь и Ксюшин крёстный отец. Человек, который родился, чтобы любить ВСЕХ.

И третий человек – это вообще чудо-человек. Александр Яковлевич Шнеер. Ему… 98 лет!!! Ясный, ироничный ум, юношеская горячность, невероятная память, невероятная работоспособность – и вообще весь он невероятный. Театровед, цирковед, автор “Цирковой энциклопедии”, “Театральной” и ещё многого, многого, что с трудом умещается в голове (моей), но его голова – это артезианский источник. Он знает ВСЁ! Помнит ВСЁ.

Вот такие у нас друзья, Володечка. Хочу, чтобы они стали и твоими.

А как твои международные контакты? Я имею в виду твоих американцев.

У нас на Преображенье тоже был международный контакт – на грани фантастики! В Россию приезжала группа эзотеристов: людей, занимающихся объединением всех религий и подготовлением человеческого общества для жизни в новом тысячелетии. Во главе этой группы (в ней – французы, швейцарцы и т.д.) – индусский святой. Да, да, живой Преподобный! И они ездят по всему миру и соединяют людей в “цепочку любви и дружбы”.

И мы – удостоились! Мы были посвящены в религию будущего века. Мы присутствовали на этом невероятном богослужении – под открытым небом, под кронами старых тополей… О, как мне близко было всё, о чем говорил Преподобный!

Нас было 22 человека. Кроме приехавших иностранцев – присутствовала только наша семья (увы, не в полном составе): Антон, Ксюша, Гавр, я, наш Феликс и наша Клер – Ксюшина крёстная. (Она-то нас и позвала во всём в этом участвовать). В конце Преподобный благословил нас всех. Ксюшу – персонально. И даже поцеловал её!

…И потом все говорили, что присутствие младенца – нашей Ксении – наполнило Действо особым теплом и светом…

Ах, как мне хотелось бы: как эти люди – носить белые одежды, ездить повсюду и всех любить!…

Три самых-самых чудесных события этого лета:

Первое – Ксюшино крещение, 28 июня. Крестил её молоденький монах Константин у нас дома. И окунали её в ту же самую купель, что когда-то Антона…

Второе – посещение (наше с Антоном) Ваганькова, 25 июля. Наш красный георгин, плывущий, как свеча, над головами толпы

– к Володе Высоцкому… И – трепет свечей у Лёни Енгибарова… Они там – рядом. И дата ухода у них одна. Только разделена восьмью годами.

Третье событие – День Преображения, о котором только что тебе рассказала.

Ну, и, конечно, – Антошино преображение: благодаря каратэ, его силе воли и желанию сделать себя.

Гавр в страшном угаре с журналом. Аж дымится…

Анюта собирается в Вильнюс (пока не закрыли границы!).

Сашка, вернувшись с геологической практики, тут же уехал в колхоз на картошку. Мы его так и не увидели.

У Ксюши проклюнулся первый зуб! Ещё она научилась делать ручкой “до свидания” и очень счастлива этим. И вообще, наша дочка очень радостное существо. Певунья. Хохотушка. И, конечно, плакса. Как все поэтические натуры…

У Антона был стиховой запой; написал целый цикл пародий на классиков. Нет, он категорически возражает против “пародий”. Это, скорее, перекличка, своеобразный диалог. Вот – один из шедевров, самый коротенький:

Пишу я стих на смерть поэта.
Погиб поэт. С чего бы это?

Я всех люблю. – Это основное наполнение моей жизни. Стараюсь ещё кое-что успевать, но трудный быт съедает очень много времени.

Володя, звони, пиши! Обнимаю.

P.S. Ксюнечка уснула, и я могу написать ещё пару строк. Перечитала написанное и сама удивилась: создаётся впечатление, что жизнь наша состоит из одних чудес. И общения с друзьями.

В плане духовном – это, конечно, так. И слава Богу, что есть это измерение – из которого проливается на нас благодать…

И ужасно досадно порой, что жизнь состоит не из одной только благодати любви. Что есть ещё план физический (а он мучителен – из-за катастрофического отсутствия здоровья). План бытовой (он тоже ой как нелёгок! – из-за каждодневного: чем накормить семейство? как приготовить нечто из ничего?) План психологический: три пишущих человека плюс младенец в однокомнатной квартире – неплохой тест на совместимость, не правда ли? Посреди комнаты – Ксюшин манеж, а по углам – груды, башни бумаг, коробки с архивами и т.д. Приедешь – сам увидишь! (Когда ты приедешь?)

А ведь есть ещё и план социальный! – вот где безнадёга… Когда то, что ты делаешь (навыкладку!) – отторгается обществом. То есть не обществом, до общества оно даже не доходит. Отторгается *системой*. А ведь мои книги могли бы работать! На самом деле я ведь знаю, что они нужны.

Я была бы согласна издать это всё “за бугром” (хотя бы!) Но у меня нет никаких выходов за этот самый “бугор”. И всё из-за моей неуместной в этой жизни деликатности. Наверное, я нелепа и смешна со своими доисторическими принципами. Шнеер, которому 98 лет, говорит: “Вы бы и в 19 веке выглядели старомодно”.

Опоздала родиться… Я это очень остро чувствую – то, что я не в своей тарелке: не в своём веке. Вот, занесло в чужую эпоху и теперь маюсь… И у детей моих, боюсь, такая же судьба… Что-то мне очень грустно, очень часто грустно в последнее время. Только на любви к своим любимым и держусь…

Пиши! Жду твоих писем."

* * *

Мы сидели у зашторенного окна, сквозь щель в шторах пробивалось августовское жёлтое солнце, в солнечном потоке плавали сверкающие пылинки… И Ксюша увидела их! И стала ловить их ладошкой…

* * *

Антон, вернувшись из пешеходной прогулки по ближнему Подмосковью:

“Красота дивная! Овраги, рощицы, деревушки совсем такие деревенские, курица на улице Кирова, улица Горького с такими покосившимися домишками, вагон, написано: дрова, оттуда – голова человеческая выглядывает… Потом солнце село, шёл через лес, в болоте каком-то увяз, и такая красотища кругом, не могу тебе передать!” – Напиши.- “Да ну, зачем? Не получится…”

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО БАНТИКА

Лил дождь. И хотя был ещё август, но дождь лил вызывающе осенний, он дышал ненастьем, он обдирал с деревьев листву, он выкрасил в чёрное и лиловое мир за окном и барабанил в стёкла с упрямой, тоскливой настойчивостью…

И по этому ненастью плыли наши любимые к дому, Антончик – с каратэ, а папочка с работы. Они продирались сквозь это чёрное и лиловое, хлещущее мокрыми ветками по лицу. И казалось, что лета никогда не было и не будет. Было грустно…

И эта грусть, как сумерки, сгущалась в нашем доме, и волны меланхолии проходили сквозь твою маму и сквозь мою дочку, грозя утратой равновесия, с таким трудом на сегодняшний день добытого.

“Вот и кончилось, дружочек, это сказочное лето…” – приговаривала я, бормоча, напевая свой собственный стишок столетней давности.

– Нет, не кончилось! – возмутилась я от нашего с тобой имени. – Не кончилось! Ксюша, давай устроим какой-нибудь праздник!

Я надеваю на тебя абрикосовое платьице. Это такое непривычное ещё и такое удивительное зрелище: ты – в платьице! Ты сразу превращаешься в маленькую императрицу. Грациозную и величественную. Я собираю несколько тоненьких каштановых волосков на твоей тёпленькой макушке и пытаюсь привязать бантик – красненькую ленточку. Ты энергично вращаешь при этом головой, пытаясь заглянуть на свою макушку: что я там делаю? Ленточка всё время соскальзывает, и только, наверное, с десятой попытки мне удаётся закрепить бантик на почти не осязаемом хохолке.

Мы зажигаем Каптеревский Фонарь. Мы всегда зажигаем его по праздникам. Мы ставим на проигрыватель Марио Ланцо. Сейчас, с минуты на минуту, придёт папа…

И вот он уже звонит в двери, уставший и вымокший до нитки, с тяжеленным портфелем в руках.

Мы открываем ему двери.

Немая сцена. И только Марио Ланца заливает дом солнечными обертонами: “Валенсия, Валенсия!…”

Папино лицо расплывается в восторге. “Ксюша! Красавица ты наша! Господи, с бантиком! В платьице! До каких Времён мы дожили, Нуш! Ну, как ты чудесно придумала – это надо же: с бантиком!…” Он осыпает нас пропитанными дождём поцелуями. Мокрая борода, запотевшие очки… “Вы такой праздник для меня!

Бегу каждый день домой – как на праздник! Но когда ещё такие сюрпризы… Тут вообще ошалеть можно!”

А тут и Антончик входит в незапертые двери.

“Ой!” – говорит Антончик. “Ксюша, ты ли это?”

…А потом папа извлёк из портфеля огромную дыню, брат отыскал под своим диванчиком бутылку газировки, и мы отмечали наш новый семейный праздник – Праздник Первого Бантика!

“Нужно не забыть занести его в календарь,” – сказал папа.

И ты сидела вместе с нами за столом, у меня на коленях, и с упоением сосала пахучий, нежный и золотистый, как серп луны, ломтик дыни…

(А дождь и ветер всё так же буйствовали за окном…)

Антон:

– Такую девочку здоровскую отрастила, мама, особенно когда не плачет!

НЕИНТЕРЕСНОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫВАЕТ

Глава девятая

* * *

“Здравствуй, Володя! Ужасно рада, что хоть американцы позаботились о тебе. И теперь у тебя такая удобная коляска, что ты, может быть, даже к нам доберёшься? Хочется тебя увидеть. Хочется, чтобы ты увидел Ксению, пока она ещё младенец. Потом она будет другой. Всегда чудесной, в этом нет сомнения, но – другой… А пока – через неё – с нами говорит *космос*…

На твоём месте я бы обязательно слетала в Америку! Такие чудесные люди: коляской обеспечили, зовут, ждут, будут встречать, опекать… Но для разминки перед Путешествием Большим советую совершить путешествие маленькое – к нам на Речвок. Починила ли Валя машину? (У тебя потрясающая сестра, Володя!) Милые, приезжайте! Хочется вас видеть! Ведь мы с Ксенией пока не выездные, как вы сами понимаете…

Володя, ты спрашиваешь, как моё настроение. Что тебе сказать?…

Когда мой мальчик был маленький, всегда в глубине души сияло блаженство… Как бы ни было трудно на поверхности. Сияло блаженство!

Сейчас то время окрестили глупо и пошло: “застой”. И Антон, мой мальчик, тоже подцепил это дурацкое слово. “Мое детство прошло во времена застоя”. Ты шутишь, сынок, или ты всерьёз? Не могу это слышать! Боже мой, какой застой?! Это время нашей молодости. Молодости моего поколения. Когда мы влюблялись и писали стихи, когда в цирке выступал Енгибаров, когда пели Высоцкий и Галич, и начинал молоденький Мирзаян, ещё не седой мэтр, а просто – любимый друг Алик… Время, когда ЗДЕСЬ С НАМИ были Сахаров и Солженицын; и ещё можно было услышать Ростроповича; и, придя к Каптеревым, увидеть новую картину Валерия Всеволодовича и прочесть новое стихотворение Людмилы Фёдоровны; и Вася Ситников ещё был здесь. Время,

когда все ещё были живы, и ещё не уехали многие наши друзья. Господи, какое прекрасное было время!… Лучшее в моей жизни. Было трудно, но было – по-настоящему.

Теперь – когда у меня на коленях моя девочка… В самой глубине, всегда – тревога. От неё не избавиться. Наверное, это от общей атмосферы вокруг. От этих лиц… Порой мне страшно выезжать с Ксюшей на улицу: боюсь, чтобы кто-нибудь не посмотрел на неё злыми глазами. Глаза вокруг почти сплошь злые. Это страшно.

И потом – постоянно какие-то нехорошие предчувствия. Живу в ожидании несчастья… Как будто стою на краю пропасти – в которую вот-вот придётся заглянуть. Кажется, сам воздух насыщен неотвратимостью беды. Тревожно, маятно, слёзы то и дело накатывают… Хотя я не из плаксивых, ты знаешь. А тут – всё время на слезах.

Храмы в этой стране на крови, жизнь на слезах…

Господи, так хочется ПРОСТО ЖИТЬ! Просто любить, просто растить детей. И писать про это книги, светлые и радостные…

Господи, почему это невозможно? О таком малом прошу, но и это – невозможно…"

* * *

Но разве сейчас – не по-настоящему? – думаю я, отослав письмо. И сейчас трудно, и сейчас по-настоящему. Просто тогда была молодость (“Первая!” – уточняет Антон), и ещё не вся кожа содрана, и побольше куражу, чем сейчас…

– Как ты думаешь, сейчас время интересное? – робко задаю вопрос сыну.

Он удивлённо вскидывает тёмные брови.

– Ты что, сомневаешься, мама? Неинтересного времени не бывает.

* * *

Неинтересного времени не бывает, сказал мой мудрый сын.

Я ухожу к плите готовить супчик, ободрённая, и продолжаю думать эту мысль. Думаю, думаю… И вдруг – мне всё становится

ясно. (Не знаю, может, завтра или уже через час ясность эта затмится сомнениями, но пока, на данную минуту, – ясно).

ПРОСТО – ВЕСНА! Вот какое произошло в глубине моей печали озарение. ВЕСНА! Просто тогда, во время моей первой молодости, была начальная стадия весны. И седобородый голубоглазый священник возвещал нам с амвона: “В России начинается духовная весна!” Он возвещал это крепким молодым голосом нам – битком набившимся в храм на окраине Москвы. Нам – молодым неофитам, приходящим сюда, на Преображенку (как это символично звучит!) субботними вечерами, чтобы услышать этот бесстрашный (кто-то пророчески сказал – “отчаянный”) голос отца Димитрия. (Того самого отца Димитрия, который крестил когда-то меня, а потом и тебя, мой сын). Который поплатился вскоре за свои проповеди покушением (всё примитивно, грубо: просто выехал из кустов самосвал!), но, благодарение Богу, остался жив.

И – продолжал расплачиваться: тюрьмой, а потом ссылкой в дальний храм другой области, куда, увы, доехать уже мог не каждый…

…А в те мартовские вечера в храм на Преображенку стекалась вся молодая, ищущая истины и духовной опоры, Москва. Таких духовных источников в то время для нас было три: отец Димитрий, отец Всеволод в Никольском храме, отец Александр в Новой Деревне.

“В России начинается духовная весна!” А за стенами храма ещё потрескивали морозы, но и капель уже позвякивала, был – март. И в духовном смысле тоже был МАРТ. И было радостно, хоть и знобко ещё, и сладко дышалось (весна, весна!), и первые пушистые вербочки отважно озаряли нашу весну…

Всё именно так. Был март.

А теперь – апрель. Время грязи. Снег стаял, и безобразно обнажились груды мусора и всякой дряни, которая плывёт по мутной воде… и надо надевать болотные сапоги, когда выходишь из дому, а лучше – отсидеться, переждать, пока вода ещё высока…

Стало быть, апрель.

Глупо бросаться вплавь по этой мутной воде… – куда доплывёшь? Берегов не видно. Наводнение оно и есть наводнение. Это не река.

Отсидеться, переждать в Доме. В своей крепости. В крепости любви. В крепости веры. (“Верую, Господи…”)

А потом мутные потоки уйдут в землю. И тогда надо будет, засучив рукава, приниматься за работу – чистить и чистить. И не

ждать скорых плодов. Какие плоды? Когда и до цветенья ещё далеко… Чистить и чистить, и рыхлить, и бросать семена, – помня о чудесном отважном цветении первых вербочек… Оно – БЫЛО. Оно предвещало, оно свидетельствовало…

А тот Берег, до которого хотелось бы доплыть, – он всегда с нами. Стоит лишь поднять глаза к небу…

* * *

Пришло письмо от Петра Яковлевича.

“Неси свой крест и веруй”, – пишет мне мой добрый редактор.

Я, откровенно говоря, ждала чего-нибудь ободряющего, вроде: не отчаивайтесь, свет клином не сошёлся на этом издательстве, поищем что-нибудь другое, всё равно ваша книга будет напечатана. (Как говорил он мне прошлой весной, маша рукой на моё скептическое “вряд ли”). Но письмо его полно неожиданно самой откровенной безысходности. А ведь он пережил столько чёрных времён! И устоял. Неужто же наши времена – самые конечные?… Что только о кресте и осталось напоминать друг другу…

* * *

…Нет, он не жаждет прочесть мою новую книгу.

Но ведь это же *нормально*! Какой странный человек напишет:"Присылайте! Жажду!"? – Никакой. Странных людей уже не осталось. Перевелись. Вымерли, как динозавры.

“А я?! – воскликнет в этом месте наш Феликс. – Я жажду!”

И доктор Коля. И Серёжа Трофимов. И Володя. И Александр Яковлевич.

Дорогие мои, прекрасно странные друзья! Слава Богу, вы – есть, и вам не грозит участь динозавров.

И этот мой упрёк – не вам. Да и не упрёк вовсе, а так – риторический вопрос уважаемому критику и редактору Петру Яковлевичу.

…А ведь вначале показалось – странный. Захотел увидеть,

руку горячо жал, говорил такие хорошие слова, даже плакать хотелось, не часто приходится слышать такие слова, смотрел такими человеческими глазами… (А я думала, у редакторов человеческих глаз не бывает).

Но я говорила ему: “Не возьмут её в детгизе”. – “Попробуем! – улыбался он замечательной своей улыбкой. – А не возьмут в детгизе – другое издательство поищем. Что-нибудь придумаем! Только не вздумайте нести за свой счёт! Этого ещё не хватало! Я уверен: ваша книга будет опубликована”.

Не берут и за свой счёт. Нет бумаги. И всё же издают – про интердевочек, про морги и кладбища. Издают и переиздают! А книга про детство никому не нужна.

“ЭЙ, ТАМ, НА ЛЕТАЮЩЕЙ СОСКЕ! ВЫ ЧТО-НИБУДЬ ПОНИМАЕТЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ? Я – НЕТ…”

МАЛЕНЬКИЙ МАНЕЖ ПОСРЕДИ ОГРОМНОГО МИРА

Она возится с флоксами. Разбирает их, как конструктор…

Она так возлюбила флоксы, что папа будет носить ей белые, розовые, лиловые охапки до самой зимы. Уже снег с дождём, открываем двери – а папа с флоксами!

…Когда увял и запылился первый букет, и его пришлось выбросить, – Ксюню утром потрясло его исчезновение. Она смотрела на пустую вазу ошеломлённо, непонимающе, почти со страхом, и мучительные вопросы застыли в её глазах: “Как? Как это могло случиться? Куда? Куда они исчезли? Где они теперь?…”

Весь день она не могла успокоиться и отвлечься от этих вопросов. Она повсюду искала и находила взглядом пустую вазу, которую я старалась задвинуть в дальний угол – но моя печальная девочка всё равно отыскивала её и безмолвно вопрошала:

“*Где? Где они теперь?*”

Не в силах понять моих объяснений, она разрыдалась…

И тогда папа побежал к метро. Но… флоксов на цветочном базарчике в этот день не было.

И ещё несколько дней их не было нигде. “Всё, отцвели в этом году, Ксюнечка, флоксы…”

Но настал вечер, когда мы открыли двери и увидели: папа с флоксами! О, какую ликующую песнь в честь их возвращения исполнила Ксения!

Потом она сидела в манеже, погрузившись взглядом, обонянием, всей душой, всей нежностью – в забрызганную дождиком вселенную… Она нюхала, вдыхала, она вздыхала, она прижимала их к себе, она зарывалась в них сияющим, как солнышко, личиком… Беря при этом ноты такой высокой радости, что у мамы и папы перехватывало дыхание.

…А потом она отщипывала с веток лиловых и белых бабочек и отпускала их на свободу…

Манеж превратился в маленькое порхающее, пахучее царство. “Наша Ксюша – флоксоман!” – сказал Антон.

* * *

– Где был, сынок? – В кино. – И что смотрел? – Так, дрянь

какая-то… Опять тётя зачем-то раздевалась. Раз шесть. И всё время они этой самой… любовью занимались. То в бассейне, то под душем, то на обочине. Скукота. – Зачем же ты ходишь на эту дрянь? – Разве ж я знал? Название вроде нормальное. А вообще сейчас всё такое. Без голых тёть не бывает. – Так вовсе не ходи. – Но всё же хочется иногда в кино. Думаешь: а вдруг в этот раз что-нибудь интересное покажут?

“Наконец-то свобода!” – сказал один знаменитый режиссёр по телевизору. И он же: “Дайте нам дорваться до женского тела!”

Дорвались… А дальше что?

БРАТ И СЕСТРА

– Мама, она посмотрела на меня *таким* умным взглядом!…

МАЛЕНЬКИЙ МАНЕЖ ПОСРЕДИ ОГРОМНОГО МИРА

…А потом в манеже рядом с Девочкой поселилась Дыня! Морщинистая и древняя, как черепаха. Такое существо. Полное волнующих запахов… К которому было очень приятно прижиматься щекой.

И полосатый гулкий арбуз в манеже жил. По нему здорово было колотить – как по барабану! И прохладные, зелёные и оранжевые, перцы, вместилище тайны. Эту тайну хотелось добыть зубами.

И Гитара в манеже жила. Долго жила, сколько хотелось хозяйке манежа…

Кто только в манеже не жил! Кто только не “работал” в нём! Вот сейчас, в настоящий момент, “на ковре” – катушка толстых оранжевых ниток! “Ты не боишься, что она всё опутает ими?” – спрашивает папа. “И на здоровье!” – смеётся мама. “Ну, ты отважная…”

Задумчивый Паучок Иксик плетёт свою таинственную паутину…

ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА, или ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В РЕСТОРАНЫ?

Заглянул на огонёк старый друг. Наш доктор Коля. Недоумевает (и я никак не могу понять, то ли он шутит, то ли всерьёз):

– Молодая, красивая, умная женщина и – засела в четырёх стенах!

– Выходит, писать книги, воспитывать детей и любить мужа – удел старых, уродливых и глупых?

Хохочет. Ему нечего сказать на это.

Но после первой чашки чая он опять начинает нас подкалывать:

– Сводил бы, Гавр, жену в ресторан…

– Ты, что, Коля, всерьёз? – теперь уже недоумеваю я.

– А что? Тебе же надо периодически отключаться от кухни. Ну, скажи, скажи, когда ты последний раз и где была?

– Была! На Ипподроме. Два раза.

– Но это же не то… Ты с Антоном туда ходила, ради Антона. А ради себя?

– Нет, ты действительно всерьёз про рестораны? Но ведь это же такая скука сидеть в ресторане! Это же с тоски засохнуть можно! Самое бессмысленное на свете занятие.

– Коля, ты как доктор прописываешь моей жене рестораны?

– И как доктор!

– А ты, Коля, предлагаешь ей одной туда идти?

– Зачем одной? Подкиньте Ксению к нам – и идите вдвоём!

Теперь хохочем мы с Гавром.

– Нет, ребята, вы чего-то не понимаете, – огорчается наш заботливый Коля. – Должен же человек почувствовать себя хоть иногда *свободным*! Расслабиться…

– В ресторан – за свободой? Нет, Коленька, это ты чего-то не понимаешь! Да я только в своём доме и чувствую себя свободной.

– У плиты? У таза с пелёнками?!

– Да, у плиты. Да, у таза с пелёнками. Я люблю своих любимых. Я думаю СВОИ мысли.

Нет, Коле это не кажется убедительным. Он смотрит на меня с сочувствием, которое меня уязвляет.

– Гавр, ну объясни хоть ты ему! Почему он меня жалеет, когда мне можно позавидовать!

И тогда мой муж берётся отстаивать моё право чувствовать себя счастливой у плиты, у таза с пелёнками…

Через полчаса:

– Да что вы пристали ко мне с этими ресторанами! – в сердцах восклицает Коля.

* * *

“Уезжать не собираетесь?” – спрашивает меня Юмих.

– Нет, – говорю я. – Не собираемся.

– Напрасно. Ваш муж мог бы иметь там прекрасную должность, прекрасный заработок.

– Я знаю. Знаю: там я буду иметь прекрасную квартиру, у меня не будет проблем с бытом, дети будут ходить в прекрасную школу…

Одно только непонятно: ЧЕМ Я ТАМ БУДУ ЖИТЬ?…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– А есть ли смысл в том, что мы не уезжаем?… В том, что мы остаёмся здесь, где никогда не будут напечатаны наши книги, где наши дети вынуждены ходить в совковую школу, где тебе приходится тратить слишком много сил и времени на добывание нашего прожиточного минимума. Тех сил и того времени, которое надо было бы отдавать призванию. Где я всегда буду считаться (для общества) домохозяйкой. Потому что мои книги лежат у меня в столе, а не на полках книжных магазинов… И ЧТО здесь уготовано нашим детям? За что им проходить те же круги совкового ада? Бегать по издательствам с нашими рукописями… Ведь они, наверное, будут думать, что это их долг. А когда они будут свои книги писать?…

Когда я вот так думаю, думаю… я постепенно утрачиваю смысл и веру…

– Но ты же так любишь Швейцера! Ты сама всё время напоминаешь о нём – и себе, и другим.

– Да, он искал место на земле, где труднее всего. И нашёл – чтобы исполнить своё предназначение. Для нас, казалось бы, задача облегчена: нам не нужно искать, мы уже родились там, где труднее всего…

– Вот видишь, как всё славно устроилось, – улыбаешься ты своей мудрой улыбкой.

– Славно-то оно славно… Но как же нам осуществить то, ради чего мы здесь? Господи, как я завидую порой Коле, Чиркову, Юмиху! Быть доктором, лечить людей. Это можно делать навыкладку хоть в России, хоть в Африке. Какое же это, должно быть, ни с чем не сравнимое наслаждение: реально осуществлять своё призвание.

– Разве ты не испытываешь то же самое, когда пишешь свои книги?

– Муку, а не наслаждение! Ты же знаешь. И когда пишу, и потом… Слышала когда-то жуткую историю: женщина родила ребёнка и держала его в шкафу. Даже соседи не знали о его существовании. У наших книг – такая же судьба…

– Ты, как всегда, преувеличиваешь! Точнее – преуменьшаешь, – говоришь ты. – Что-то всё-таки было напечатано. Зачем гневить Бога? И потом: у нас такие прекрасные читатели! Доктор Коля, Александр Яковлевич, Феликс…

Пауза.

– Ну, ну, ну…

– Серёжа Трофимов! – вспомнил ты ещё одного нашего

хорошего друга, тоже очень-очень давнишнего. Что-то давно он не заглядывал к нам… Ау, Серёжа!

Да, Серёжа тоже наш читатель. И – *понимательь*.

– И наши дети, надеюсь, нас прочтут, – говоришь ты с воодушевлением.

– Будем надеяться.

– А про Марию Леопольдовну ты забыла?

Нет, не забыла. Мария Леопольдовна, соседка с восьмого этажа, бабушка Антошиного приятеля, она ждёт моих новых книг.

“Вы пишете? – спрашивает она меня каждый раз, когда мы с ней встречаемся в лифте или у подъезда. – Я жду”. Эта милая женщина, ставшая родной за много лет соседства и дружбы наших мальчишек, она даже не подозревает, *что* значат для меня эти её слова: “Я жду”.

– Вот видишь, – говоришь ты. – Не у каждого писателя есть *такие* читатели. Разве тебе мало?

Итак. На сегодня, с трудом, но мы всё же пришли к выводу: всё не так уж плохо.

И можно жить дальше.

Нужно.

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– А вообще, есть ли смысл в этой жизни?…

– Конечно, есть.

– Почему же я сегодня его не вижу?

– Ты просто устала, милая. Тебе в конце концов надо выспаться. Вот мы сидим, а уже второй час, лучше бы ты спала.

– Как же я могу спать, когда я не знаю ответа на вопрос: есть ли смысл в этой жизни?

– Как так не знаешь? Вчера ещё знала.

– Мне кажется, я и в Бога сегодня не верю… и в бессмертие.

– Ну вот…

Я ухожу на лоджию, ложусь там на диван, завернувшись в плед. Начинает шелестеть дождь… Постепенно шелест переходит в грохот. Отвесная стена дождя обрушивается с тёмного неба на тёмную землю. Я лежу и думаю о нас с тобой…

Ты веришь – незыблемо. Я свою веру – каждый день добываю заново. В этом – твоя сила и моя слабость. Твоя радость и моя печаль. Для тебя твоя жизнь ясна – до конца. Моя же – каждый день – под вопросом. И не то, чтобы во мне не было стержня… Скорее, этот вопрос и является моим стержнем.

– Господи, какой дождь!…

БРАТ И СЕСТРА

Он – о ней.
Раньше – ласково: “Лысик…”
Теперь – ласково: “Волосатик!”

* * *

– Так быстро!… Не успеваю! Не успеваю – нарадоваться, налюбоваться. Дни так мелькают…

– Мне кажется, если бы каждый день длился двадцать лет, тебе и тогда было мало. Ты бы и тогда плакала: как быстро! как коротко!

* * *

– Не плачь, – говоришь ты. – А то ты так проплачешь всё Ксюшино младенчество. А потом будешь плакать о том, что не успела ему нарадоваться…

* * *

“Вспомни о бабочках-однодневках”, – говорю я себе, когда грусть грозит перерасти в отчаянье: “Никогда, никогда уже она не будет четырёхмесячной! И шестимесячной… Никогда нам не пережить ещё раз наше Первое Лето…”

Вспомни о бабочках-однодневках, говорю я себе. Порадуйся: тебе отпущено больше.

* * *

Ждала своего Иксика и думала:

Разве можно во второй раз радоваться всему так же – как в первый? Ведь всё это у меня уже было: и первая улыбка моего ребёнка, и первое “агу”. И всё, всё, всё… Уже было.

…Теперь знаю – не было.

Не было никогда во вселенной – а теперь есть! – Ксюшина Первая Улыбка.

И какой же ущербной была вселенная без этой улыбки!

ГУЛЯЕМ В СКВЕРЕ

Смотреть с тобой на бабочку. На закат. На воробья.

Радоваться – бабочке, закату, воробью…

И – не думать, не писать мысленно писем редактору, который не хочет издавать моих книг, не спорить мысленно и совершенно тщетно с тупым рецензентом…

Не отрывать время и душу – от вечности – на преходящее. От вечного – на суетное.

О КСЮШИНОМ ВЗГЛЯДЕ

О Ксюшином взгляде надо сказать особо.

Взгляд у неё совсем не младенческий – упорный и пронзительный. Она могла бы дать объявление в газету: “Вытрезвляю экстренно”.

На улице:

Каждый, кто встречается с Ксюшей взглядом, невольно вздрагивает. И говорит: “ОЙ, СМОТРИТ!…”

ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ

А сегодня, 28 августа, совершенно особый день в Ксюшиной жизни. (Пишу уже ночью).

Сегодня ей – Восемь с Половиной Месяцев. Ровно столько, сколько было в день её появления на свет… Сравнялось!

Восемь с половиной Иксик прожил в Космосе, который я носила в себе… И уже столько же – на Земле.

Теперь, отныне, – ТА жизнь, космическая, будет всё более и более заглушаться ЭТОЙ, земной… Немного грустно. Но, я надеюсь, мой таинственный Иксик всегда будет жить в моей чудесной девочке. (НАШ Иксик – в НАШЕЙ девочке!) Иксик – в Ксюнечке. И та космическая ипостась, которой ещё не так давно была моя девочка, будет порой напоминать ей о том времени, когда мы с ней – БЫЛИ ОДНО!…

А ещё сегодня Успенье Богородицы.

И – два месяца со дня Ксюшиного крещения.

А ещё сегодня Ксюнечка впервые ела суп, приготовленный братцем. И оценила его по достоинству.

А ещё сегодня Ксюня сама встала в манеже!

А ещё ей сегодня 250 дней! (А недавно было 5 дней!) Вот сколько событий.

А ещё сегодня папа принёс дочке (и маме, и всему Речвоку) букет японских гладиолусов: крошечных и нежно-ало-оранжевых – таких Ксюшиных! И дочка их тоже оценила по достоинству: весь манеж был усыпан оранжевыми лепестками… А некоторое их количество Ксюша, по-моему, впитала в себя. – Как она впитывает всё!

Не забыть: Ксюнчик в белой праздничной блузе с буфами, с оранжевым гладиолусом во рту!…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Какое-то постоянное раздвоение души: я и очень-очень счастливая и очень-очень несчастная. Одновременно! Что бы это значило?

– Быть может, любовь?… – улыбаешься ты.

* * *

И опять – уже с другой стороны:

“Уезжать не собираетесь?”

– Зачем?

– Чтобы спасти детей. Мы уезжаем только из-за этого…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Милая, ты что, действительно, думаешь, что этим мы их спасём? А ты не боишься – что погубим?

– Там нормальный разумный мир. Почему погубим?

– Ну, представь: мы уезжаем. И в одночасье лишаемся всего, что любим. И всех, кого любим. Только представь на минуту, что ты никогда больше не увидишь ни Володю, ни Феликса, ни Александра Яковлевича, ни Колю, ни Юмиха… Ни сестру свою. Ни наших мам. Представила?

– Можно будет ездить в гости…

– Ах, милая! Ну, вот Шпирты уехали, сколько лет уже? И часто ли мы ездим друг к другу в гости? И часто ли мы пишем друг другу?… Всё! Нити рвутся, это неизбежно. И напишем ли мы *там* свои книги? Когда все силы надо будет положить на то, чтобы зацепиться, прижиться… Тут уж, боюсь, будет не до книг. И скажет ли нам спасибо Антон, оказавшись где-нибудь в прекрасном Лос-Анжелесе, к примеру, в прекрасном – но совершенно, абсолютно чужом, в чужой языковой среде, среди чужих лиц, где ни одного знакомого, выйдя на улицу, не встретишь… И будешь ли ты там спокойнее за него?

– Не знаю…

– А я знаю: там ты будешь сходить с ума ещё больше. Все-таки здесь, за столько лет, мы создали СВОЙ МИР. Это и Антошины деревья, и наши друзья…

– Всё. Уговорил. Не едем. Сегодня.

Они сладко посапывают во сне, наши любимые, наши дорогие дети… Господи, не оставляй нас в наших сомнениях! Научи: как поступить, чтобы исполнилось предначертанное нам?… Не ринуться бы сгоряча, с отчаянья наперекор судьбе. Но и не плыть же по течению – куда вынесет?…

– Надо прислушиваться, – говоришь ты. – Я уверен, ответ всегда посылается. Но надо его услышать.

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Да ну их! – говоришь ты. – Мы-то живём *нашей* жизнью. Нашей настоящей жизнью.

– И всё-таки приятно, – говоришь ты, – присутствовать при издыхании ТАКОГО ЧУДОВИЩА!

– Так оно может издыхать ещё сто лет!

– Ну, не скажи! На сто лет его не хватит. Может, и на три года не хватит…

– …и, издыхая, бить хвостом так, что… сколько ещё хребтов будет сломано? сколько судеб покалечено?…

Спят, набегавшись, нагулявшись, насмеявшись, наплакавшись за день, наши детки. Наши хрупкие и нежные. Наши совершенно не от мира сего детки.

Господи, что Ты уготовил для них в этой жизни?…

ПРО ЧЕМОДАНЧИК

Сначала чемодан стоял под её кроваткой, был набит вещичками и очень Ксюшу однажды напугал, клацнув замками. Она стала его бояться и плакать, когда он возникал в поле её зрения. Вещички, извлекаемые из него, тоже пугали.

И тогда я набила чемодан игрушками. И Ксюша медленно-медленно привыкала не бояться.

…А потом полюбила чемодан так горячо, что захотела однажды в него влезть. И я поставила чемодан в манеж. И Ксюша поселилась в нём.

Стоит посреди комнаты манеж – комнатка в комнате. Стоит в манеже чемоданчик – комнатка в комнате в комнате. Сидит в чемодане дюймовочка – наша весёлая девочка в окружении любимых игрушек. Любимых много, но всё очень быстро меняется.

Уже месяц Ксюня живёт в чемоданчике: учится влезать в него, вылезать, вставать в нём, втаскивать в него игрушки и выбрасывать. И ещё – играть на замках!

Нам уже девятый месяц идёт, ничего себе!…

* * *

“Мама, такую умную девочку отрастила!”

ВДРУГ ВСПОМНИЛОСЬ:

Наш красный георгин плыл над головами толпы, как свеча…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Неужели ты не почувствовал? Неужели ничего? В самые первые дни, когда мы пришли из роддома? Нас буквально стали раздирать в разные стороны!… Кто? Да ты и сам знаешь, кто. Их не так уж мало – тех, кто хотел бы этого: нашего разрыва. Легче перечислить тех, кто к этому не причастен.

Конечно, надо молиться. Я и молюсь, стараюсь…

* * *

– Разве это петушок? – брат с скептической гримасой крутит в руках погремушку. – Это кошмар какой-то! Разве Ксюша может по нему составить представление о реальном петушке?

* * *

“Мне не пятнадцать лет! – возмущённо говорит сын. – Мне четырнадцать с половиной.” И тут же поправляет себя: “Без трёх дней…”

Поди вот разгадай эту болезненную нетерпимость к завышению его возраста!

НАША МАЛЕНЬКАЯ ПЕВУНЬЯ

Обычную речь она отвергает. Она – поёт! Поёт целыми днями. (Если не плачет).

Для неё ВСЁ, даже самое крошечное событие, – повод для песенки:

“Песенка обретённой мамы”.

“Песенка добытой прищепки”.

“Песенка лицезрения Антоши”.

“Песенка вкусного супчика”.

“Песенка папочкиной бороды”.

“Песенка нового мячика”.

“Песенка сорванного листика”.

“Песенка солнышка за окном”…

Радостная догадка: для неё эти события не крошечные – ОГРОМНЫЕ! Наполняющие её детскую душу радостью и ликованием…

НАДО ЛИ ЕЙ НЕ ПЛАКАТЬ?

Именно так: надо ли ей не плакать?

Хорошо ли ей было бы, если бы она не плакала?

Одну девочку, пишущую стихи, спросили: “Что для тебя значит написать стихотворение? ” – “То же, что поплакать…”

А ведь наша Ксения – поэт! Это – без сомнения. Как она смотрит на берёзы!… Как она вслушивается в шелест листвы!… Как она таинственно надолго задумывается…

Значит, пока не научится ВЫСКАЗЫВАТЬ стихи, которые она слагает внутри себя, она будет плакать.

ОНА ВЫПЛАКИВАЕТ СТИХИ.

* * *

“В нашем доме никогда не кончится детство. Не успел вырасти ты, появилась Ксюня”.- “А когда Ксюня вырастет?” – “Тогда мы с папочкой уже впадём в детство…”

* * *

Ксюнчик в манеже – разбирает флоксы.

Антончик – рядом, за компьютером, разбирает свои “флоксы”…

Оба – одинаково сосредоточены и погружены. Каждый – в своё. Познаватели мои ненаглядные!

Остановись, говорю я себе (себе-бегущей-из-комнаты-на-кухню). Остановись, замри, даже присядь на край тахты, ничего не случится, если ты посидишь минуту и просто полюбуешься на своих детей.

Они так прекрасны, Господи! И они ещё ДЕТИ. И они ещё со мной…

БРАТ И СЕСТРА

Вечером за столом. Ксюня у меня на коленях. Щиплет веточку петрушки, растопырив веер крошечных настойчивых пальчиков, от усердия сдвинув серьёзные свои бровки.

– Такое умилительное существо! Очень она тебе, мама, удалась!

* * *

– Антоша, кофе будешь пить?

Смеётся.

– Ты чего смеёшься?

– Ты так мило меня спросила…

* * *

– Мама, а у тебя будет когда-нибудь нормальная жизнь?

– Боже мой, Антончик! Да ведь у меня сейчас самое счастливое время в жизни! Счастливее и быть не может…

– Но ты так устаёшь. Не высыпаешься уже сколько месяцев.

– Недосып – побочный продукт счастья!

* * *

– О, как я устала!…

– О, как смертельно хочется спать!…

– Но разве мы не об этом мечтали?

– Конечно, любимая.

– Разве не об этом времени мы будем тосковать – и уже очень скоро?… Ведь оно так быстро проносится…

ГРУСТНОЕ ОТКРЫТИЕ

– Боже мой, а ведь наше Первое Лето уже кончилось!

– Мамася, что-то у тебя ностальгия развилась до страшных размеров! Ты тоскуешь о том, что ещё не кончилось, так, как будто тебе лет пятьдесят, и ты вспоминаешь о том, что было сто лет назад! Вон Ксюша спит, совсем ещё маленькая, радуйся!

* * *

Всё ли мы взяли от нашего Первого Лета, что могли?…

* * *

Последний раз на бухте. Кроме нас – ни души. Только ветер, синие волны, солнце, жёлтый песок и сосны на том берегу… И – небо. И два распахнутых изумлённых серых глаза – в которых отражается наше Тридцатое Августа.

Мы сидим на берегу, у самой кромки синей шумной воды. От воды дует тугой синий ветер и весело надувает наши лёгкие, точно праздничные воздушные шары. В ярких чешуйчатых волнах купается медный таз солнца. Сосны на том берегу застыли загадочными иероглифами.

Ксюня – в синей своей коляске, я – рядом, на тёмной коряге. Мы – вместе – на волне сухого сыпучего песка…

Ксюня смотрит на плещущийся перед ней августовский мир – и медитирует… Я смотрю в её глаза – и блаженствую.

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО РАССПРОСА

Хорошо, что мы вчера съездили на бухту. Потому что сегодня дождь. И самое большое, что возможно в последний день нашего Первого Лета – это посидеть на лоджии. Что мы с Ксюней и сделали.

О, это был День Великого Расспроса!…

Только вчера утром наша девочка научилась задавать вопросы. “Ы? ы?” – крошечный указующий пальчик тянется к интересующему объекту. “Ы? ы? ы?” – звучит настойчиво и нетерпеливо. “Это дома, Ксюнечка. Там живут тёти и дяди, мальчики и девочки, кошки и собачки”. “Ы? ы?” – тычет любопытный пальчик во все стороны. “Это машина проехала и прошуршала шинами. Это деревья, они ещё зелёные, но скоро пожелтеют. Это небо, оно в тучах и капает дождиком”. “Ы? ы?” – “Там тоже дома. И окошки. И огоньки”. “Ы? ы?” – “Это закат. Это небо”. – “Ы?”- “Дома”. – “Ы?” – “Небо”. – “Ы?” – “Небо”(она проверяет меня). “Ы?” – “Хватит вопросов! Давай песни петь!” Хохочет. С удовольствием затягивает: “А-а-а!… А-а-а!…” И тут же: – “Ы? Ы? Ы?”

БРАТ И СЕСТРА

– Думала ли ты, мамася… ещё зимой, что не пройдёт и девяти месяцев, и у нас будет такое восхитительное существо!

ДО И ПОСЛЕ ДЕВЯТОГО СЕНТЯБРЯ

Глава десятая

* * *

“Дорогой Павел Иванович!

Я – одна из тех, о которых Вы говорите, что нас – нет.

Несколько раз в печати встречала это Ваше утверждение: вот, мол, новые времена настали, свобода слова, а где же новые имена? Где те писатели, которые так рвались к читателям? Их нет.

Но мы всё-таки есть. Мы – которым сейчас уже сорок, которых не печатали двадцать лет назад, десять, и которых с таким же успехом не печатают и сейчас.

Ещё не так давно мне вменяли в вину отсутствие “здорового” оптимизма, теперь же – (о, эти фантасмагорические парадоксы нашего конъюктурного книгоиздания!), теперь же – я не представляю для издателя интереса из-за отсутствия “правды” жизни: чернухи и порнухи.

…Два года назад (когда Вы были у нас дома, и мы говорили о стихах Людмилы Федоровны Окназовой и смотрели картины её мужа – Валерия Каптерева) Вы спросили меня, как складывается моя литературная судьба. Тогда я не хотела переводить разговор с Людмилы Федоровны на себя, и потому на Ваш вопрос не ответила.

Отвечу сейчас. Вам – как человеку давшему мне когда-то рекомендацию в институт, и, стало быть, что-то увидевшему в моих, тогда ещё детских, стихах… Сейчас в моём столе десять поэтических книг и четыре книги прозы. Опубликовано за эти годы: крошечный сборник стихов (микро-избранное), повесть о цирке, да вот теперь – отрывки из повести о детстве.

Я считаю, что моя литературная судьба не складывается пока никак. Я не могу говорить с моим читателем, – а ведь он у меня есть. После каждой, даже такой эпизодической, публикации я получаю письма от читателей, и в каждом из них – вопрос: как прочесть ваши книги? где их достать?

Достать мои книги можно только из ящика моего стола… Пожалуйста, прочтите мою повесть. Даже если Вы её и не напечатаете в своём журнале, Вы хотя бы убедитесь в том, что мы

– есть. Мы – те, на отсутствие которых Вы так горько сетуете… Мы есть.

С уважением…"

– А потом, – говорю я Ксюше, – дядя Павел Иванович позвонит маме и скажет…

– Ну да, позвонит! – скептически дергает плечом папа.

– … позвонит дядя Павел Иванович и скажет: “Простите меня, ради Бога. Я ошибался. Я думал, что вас нет, а вы – есть”.

И мы смеёмся.

ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ

Ранняя осень. В доме нет горячей воды. Не греют батареи. Мы с Ксюней похожи на два капустных кочана: так много на нас одёжек. Избитое сравнение, но на что же мы ещё похожи? Холодно…

Судорожно соображаю: из чего сегодня сообразить обед? Именно: *сообразить*, потому что приготовить его не из чего. Антон, оббежав ближние магазины, вернулся с пустой авоськой. “Представляешь, в магазинах один только уксус! Все полки заставлены уксусом! Сюр какой-то…” Наш замечательный мэр Гавриил Харитонович сказал: ничего не поделаешь, живём в условиях блокады. И пустые магазинные полки, и холодные батареи – это звенья одной цепи…

Вот и мы узнали, что значит жить в блокадном городе. А раньше – не знали. Теперь наш жизненный опыт стал богаче.

Вздрагиваю при каждом резком звуке за окном. “Опять экстремисты стреляют?” – “Мама, тебе всюду чудятся экстремисты!”

Антону четырнадцать, и потому он смеётся. А я думаю: неужели гражданская война – это неизбежность? Страшно выходить на улицу.

Доктор Кашпировский, который прошлой осенью и зимой с экранов телевизоров утешал и примирял, – облит грязью и предан забвению… Содержателям этого большого сумасшедшего дома не нужны те, кто внушает надежду на исцеление.

Кому здесь нужны книги о любви? Эротика, порнуха – это пожалуйста, это только разжигает страсти. Которые уводят от света во тьму… Всё это – на руку содержателям, а точнее – надсмотрщикам.

Сочетание сумасшедшего дома с публичным. Психушка с красным фонарём у входа. Авторы довольны. Такого результата удаётся достичь не часто.

Девятый вал конкурсов красоты… Хищные мордочки претенденток. Акульи оскалы победительниц.

Итак, что же я приготовлю сегодня на обед?

“Где достать ваши книги?” – Нигде, дорогие читатели. Нигде. Для них нет издателя и нет бумаги.

Так, Ксюне манная кашка из пакетика. Нам… -?

На пшено у Антона аллергия, яйца давно кончились (последнее яйцо я разделила на двоих детей, как и последнее яблоко), котлеты, которые принёс папочка, пришлось выбросить в мусорное ведро: они оказались зелёными. “Ну, мамася, значит, у

нас ещё не настоящая блокада, если ты такие хорошенькие котлетки выбрасываешь!" – смеётся Антон.

("Наверное, тебя это никак не касается – то, что сейчас вокруг. У тебя другие заботы…" – всплыла строка из письма подруги).

К счастью, есть ещё немного перловой крупы. Вот уже вторую неделю у нас на обед – супчик из перловки на воде. Очень, надо заметить, удобный супчик! Во-первых: перловка внутри у едока долго-долго переваривается… и, пока она там переваривается, есть совершенно не хочется. Во-вторых: на другой день крупа в супе сильно набухает, и супчик, загустев, временно перестаёт быть супчиком, превратившись в плотный концентрат. Но… если этот концентрат разбавить водой, супа опять становится полная кастрюля! И так – много раз. (Тут вспоминается сказка про кашу, которую никак не могли съесть. Она всё пёрла и пёрла из котла… Наверное, каша была перловой). Муж мной гордится и даже хвалится по телефону друзьям: "Моя жена умеет готовить суп из одного компонента. И так вкусно получается! Наверное, она знает какие-то волшебные слова…"

У меня три волшебных слова: Я ВАС ЛЮБЛЮ.

А вот и детка проснулась…

– Доброе утро, солнышко!

Солнышко улыбается и делает "ладушки". Она только вчера научилась и очень радуется этому своему умению. "Ладушки-ладушки, где были? У бабушки…"

Не были мы у бабушки. И бабушка не была у нас уже давно. Бабушка ходит на работу, и на все наши призывы бросить её – всё же не увольняется. Бабушка боится грядущей безработицы.

В свободные свои часы бабушка стоит в километровых очередях, добывая хлеб насущный.

– Ладушки-ладушки…

Но ведь не под пустым небом живём, Господи?…

"Смотри на это как на карнавал", – говоришь ты.

Да, я смотрела бы на это как на карнавал…

Уйдя за хлебом, Антон пропал на два часа. Моросящая мерзость на дворе – как в ноябре. Нас обжулили даже на бабье лето! Антон ушёл в резиновых сапогах на тонкий носок. Тёплых носков не купишь, башмаков тоже. "Смотри на это как на карнавал…" Скоро начнём плести лапти. Было бы из чего – уже научились бы.

Антон вернулся с роскошной по нынешним временам добычей – тремя буханками хлеба. Серого, сырого, плохо пропечённого, но – хлеба! Завершив рассказ о том, как и где он

его добывал, со вздохом признался: “Терпеть не могу стоять в очередях.”

…Моя восьмидесятилетняя крёстная когда-то торжествующе сообщила мне: “Я научилась стоять в очередях! Я – смирилась. И потом: я ищу для себя развлечение – смотрю на лица людей, заговариваю с ними…” Моя крёстная не была любительницей магазинных очередей, моя крёстная была поэтом.

Господи, неужели я должна учить своего мальчика этой науке? Неужели он родился под этим серым небом для того лишь, чтобы разучиться писать стихи и научиться стоять в очередях?

“Ладушки-ладушки…”

И девочку мою – тому же?!

“Смотри на это как на карнавал…”

Основательно промёрзнув, Антончик свалился с ангиной.

Господи, неужели за эти три серые буханки мы должны платить сорокаградусной температурой, бессонными ночами, нервами?… Господи, я не могу так жить. Я не хочу учить этой бессмысленной науке своих детей.

Господи, почему же я тогда не собираю чемоданы? Ведь это так просто. Во имя каких принципов и идеалов я сижу здесь и проливаю напрасные слёзы, которые капают на мельницу без зерна?… Может, я просто трусиха? Или я уже сломлена этой системой и у меня нет ни воли, ни сил?… Почему я не уезжаю, Господи? Почему не спасаю своих детей? Почему мой материнский инстинкт не возьмёт верх над интеллигентским: “Мы здесь нужны”?

Кому я здесь нужна, Господи?

ПРО АКРИДЫ, СВОБОДУ ВЫБОРА И КГ МЯСА

– Я так счастлива, так счастлива! – мамин голос звенел в телефонной трубке молодо и задорно. – Я достала для вас килограмм мяса! Правда, простояла в очереди четыре часа, но это неважно…

Я слушала её и мне хотелось плакать. Моя бедная мама… она так любила Чехова и Куприна. Она каждую свободную минуту бралась за книгу. Мы обсуждали с ней (давно когда-то – словно бы в другой жизни!) все книжные новинки. Мама с книгой в руках – воспоминание из моего детства и юности. Мама с авоськами в руках – это теперь.

– У тебя что-то случилось? Почему у тебя такой голос? – встревожилась она на другом конце провода.

– Нет, мамочка, всё в порядке. Спасибо тебе большое. Жалко только, что ты столько времени потратила.

– А что делать?…

Действительно, что делать, когда мне нечего приготовить вам на ужин?

– Не переживай, – ободряет меня Антон. – Вон пустынники одними акридами питались – и ничего.

– А где мне взять эти акриды?

– Хм… в самом деле. Но ведь… папа принесёт, наверное, что-нибудь в клювике вечером?

– Бедный папа. Бедная бабушка. Что-нибудь принесут. У нас, как в первобытные времена, во главу угла встала проблема пропитания…

– Ну, не такие уж бедные, мамася! С голоду пока не умираем.

– Проблема ведь не в том, Антончик, питаться акридами или сосисками. Я согласна на акриды. Но я не хочу о них думать! Я хочу думать о совсем других вещах! О своей новой книге, например…

Беда в том, что меня (нас всех) лишили СВОБОДЫ ВЫБОРА. Пустынник уходил в пустыню и питался там одними акридами по СВОЕЙ ВОЛЕ. Да и не за акридами он шёл, а за духовным совершенствованием. Он не стоял часами в очередях. Питался, чем Бог послал, и думал при этом о возвышенном. По сравнению с нами, у него были идеальные условия. О, как бы я хотела жить в той пустыне!…

И не потому я сетую, что мне трудно. А потому, что

трудности эти мне навязаны. Я их раба. И нет у меня никакого выбора…

– Совсем никакого? – спрашивает Антон.

И мы некоторое время молчим, обдумывая ответ на этот мрачный вопрос.

– Ты прав. Выбор всегда есть. И в нашем случае вполне определённый: или остаться людьми – или…

* * *

Такая мучительная тревога стиснула всё внутри… Еду в трамвае, дождь, ограда Ваганькова, там Лёня и Володя… Господи, с кем ещё придётся разлучиться, и где взять силы для всех грядущих разлук?…

Еду в дождливый, прогорклый центр, зачем-то, вроде как – развеяться, отдохнуть, отключиться от кухни, от Ксюшиных слёз, которые – как этот дождь… И вдруг – солнышко в прорехе, красный закат, всё красно, тревожно… Зачем-то захожу в “Магазин моды”. Зачем-то покупаю красную соломенную шляпу. Зачем? ведь лето уже кончилось…

Покупаю себе шляпу исключительно для поднятия тонуса. Дома мы её поочерёдно примериваем, все, включая Ксюню. Смеёмся… Вернее – пытаемся смеяться. Антон в жару, Ксюша начинает покашливать…

Поздно вечером мы долго и тяжело разговариваем. Я то и дело срываюсь. Ты смотришь на меня горькими глазами. Мне кажется, мы устали друг от друга. Ты говоришь, что я говорю глупости. Что устали мы вовсе не друг от друга. Наверное, психоз улицы, психоз толпы вторгся и в наш дом. Зияет, чернеет пробоина… и в неё хлещет холодом и тоской… “Пойми, не в нас дело”, говоришь ты. Но мне так трудно с собой, с тобой, так невмоготу дышать… Что это?

ДЕНЬ ДЕВЯТОГО СЕНТЯБРЯ

И ещё несколько дней нагнеталось и нагнеталось. И нагнетлось до такого болевого сгустка, до спазма… – не продохнуть, не вымолвить слова без судороги. Какая-то безнадёжность нависла над нашим домом, как пылевое облако, и опустилась на него, на нас, пропитав насквозь ржавой своей духотой…

Несколько дней не хотелось жить. И казалось – так будет всегда. Антоша, чутко уловив наше настроение, смотрел на нас печально-исподлобья. Ксюша плакала…

“Вы просто устали, – сказал Феликс. – Просто очень устали. Не могу поверить, что вы можете ссориться”.

А мы ссорились. Горько и неукротимо. Словно бы (опять же!) не по своей воле. Не было на то нашего желания, но кто-то крутил нас в этой тёмной пыльной воронке… высасывая силы, лишая слуха, зрения и разумения…

Теперь-то, спустя какое-то время, уже не страшно об этом писать. Но тогда – в те дни начала сентября – было худо. Совсем худо. “Ну, вот и спустились мы со своей Крыши… сверзились, свалились, шмякнулись… Вот и конец.”

И настало утро девятого сентября. Светлое и лёгкое. Наконец-то бабье лето! Сидела на лоджии, укачивала Ксюню и мысленно разговаривала с тем, с кем всегда говорила в самые отчаянные минуты жизни. С тем, кто один только и мог мне помочь.

…Падали лёгкие, пропитанные солнцем, листья на тропинку, ведущую к маленькому деревенскому храму… И мы с Антоном шли этой тропинкой. Я давно хотела привести его сюда – к этому полю и лесу, к этим избам, к этому небу и этому храму. Здесь я ходила, вот этими тропинками, пятнадцать лет назад – когда ждала своего мальчика. В сущности он здесь уже был. Жил. Я обещала ему, что мы придём сюда опять. И вот мы идём… и листья падают каплями света… (Помнишь, из моего давнего стихотворения? “Золотом листвы закапан маленький церковный двор…” Это про этот двор, Антоша…)

Подходим к маленькому деревянному храму с голубым, как слеза, куполом. Господи! как давно я не была здесь… Но сколько раз я приходила сюда мысленно! (“Почему же не приезжала?” – спрашивает Антон. “Когда-нибудь расскажу. Это – долго и грустно. Люди стояли между нами. Между мной – и этим храмом. Между мной – и тем, к кому мы сейчас пришли”.)

И мы заходим в храм, и проходим ближе к алтарю, и наконец

видим того, кому я исповедуюсь вот уже семнадцать лет. Ему одному так, как хочет душа. Первые годы – приезжая сюда, две осени – живя здесь, и вот уже много лет – мысленно…

Он устал и поседел за годы, что я не видала его, и взгляд – прежде огненный и страстный взгляд молодого проповедника – теперь полон скорби. Да, мой батюшка очень переменился…

Но остался тем – кем был всегда. Тем, кто всегда стоял рядом со мной – пред очами Господа. Не МЕЖДУ мной и Господом – но всегда РЯДОМ. Не читая моралей и не стращая. Он говорит: “Давай помолимся вместе”. ВМЕСТЕ. Он берёт на себя тяжесть моей ноши. Освобождая мою душу для жизни. Освобождая от смерти грехов – для жизни. Он всегда прощает, всегда любит. Не укоряет – но сокрушается. Не отлучает от церкви – но приближает. Ибо не для одних только праведных она стоит на земле – но и для слабых, и грешных…

Его укоряют в нестрогости. Ставя в вину космическую его доброту. Не понимают, что укоряют в ИСТИННОЙ любви, на которую сами не способны. А он, не взирая на хулу недругов и завистников, и на наши слабости и грехи, любит нас той любовью, какую завещал Христос. Истинная любовь долготерпит и прощает. Она гладит заблудшее чадо доброй рукой по голове и дарит ему надежду…

Капли тёплого осеннего света стекают на купол, на алтарь, на Вечную книгу, на распятье в его руке… “Здравствуйте, отец Александр!” – “Ну, здравствуй, здравствуй, вот и хорошо, что пришла”, – и он склоняется надо мной всей своей добротой, и слегка обнимает меня за плечи – снимая с них тяжесть. “А это мой сынок. Помните, Вы благословили его, шестимесячного?” – “Прекрасный мальчик”.

…И ещё долго, долго, под светлые голоса воскресной Литургии, я исповедуюсь в маленьком деревенском храме – под любящим и сострадающим взглядом. Да, да, и про эту чёрную пробоину в стене нашего дома, и про пыльную воронку, куда нас неумолимо засасывает… И слышу то, зачем прихожу сюда уже столько лет: “Давай помолимся вместе”.

В маленьком храме, воскресным утром девятого сентября, я вновь воскресла для жизни.

…Я открыла глаза. Поскрипывала коляска, сыпалась листва, доцветали бархатцы, девочка моя спала, на подоконнике стоял букет лесных цветов, принесённый сыном. Он перекликался с цветами на лоджии. Я вошла в комнату, взглянула на тебя, ты сидел за компьютером, работал, и в ту же минуту почувствовала, что нет ни пробоины, ни воронки. Что мы – вместе. Одно. Как всегда. “Это отец Александр помирил нас”, – скажу я тебе завтра.

А в ту минуту мы взглянули в глаза друг другу и улыбнулись. И ты взял меня за руку, и я уткнулась в твоё плечо, и с облегчением заплакала.

И мы ещё ничего не знали… И весь день прожили светло и радостно, осенённые *его* любовью. Наша девочка играла в манеже и напевала, наш мальчик улыбался нам своей чудесной улыбкой… Мы были счастливы. И ещё ничего не знали…

* * *

“14 сентября 1990 года.

Дорогой Володя!

После чёрного 9 сентября нет сил ни на что.

И ничего уже не хочется. В этой стране. В этой дикой стороне…

Господи, как в ЭТО поверить? Как с ЭТИМ смириться? Как с ЭТИМ жить теперь?…

Я хорошо знаю тропинку и лесок, где ВСЁ ЭТО произошло… Когда-то было счастьем бежать через этот лесок от станции к его дому. И в этом леске его ждали с топором! Господи, почему ты не удержал руку, занёсшую топор?!

…Утром 9 сентября я мысленно общалась с ним, не зная ещё, что его уже нет…

Нет, не могу писать, прости…"

“25 сентября 1990 года.

Мне как-то безразлично стало, выйдут или не выйдут *здесь* когда-нибудь мои книги. Да мне и непонятно даже теперь: для кого я их писала? Для детей своих, для друзей? Но мои дети и мои друзья – они и так всё понимают…

Мне же, как наивному русскому литератору, этакому дон-кихоту, (дон-кихот в юбке! кормящий дон-кихот! – ну не смешно ли? – тогда смейтесь! я и сама смеюсь…), мне же хотелось участвовать в духовном возрождении России! Никогда не рвалась печататься “за бугром”. Двадцать лет тешила себя надеждой, что – когда-нибудь! – мои книги пригодятся *здесь*. Мне казалось: никогда для них не будет поздно…

И вдруг поняла: *поздно*. После 9 сентября что может быть здесь?

Россия для меня перестала существовать. Россия в смысле духовной субстанции. Осталось некое необозримое, тягучее,

залитое тоской географическое пространство, на котором маются мои друзья. Мои дети. И я сама.

Здесь уже ничего не может быть… После того, что произошло на тропинке в Семхозе… Это – завершающая точка. Хотя ты скажешь, что таких кровавых точек в нашей истории было много, что это не точка *конца*, а лишь точка из бесконечного, уходящего в прошлое и будущее, многоточия…

Для бесстрастного сухого историка, глядящего на нас из своего немыслимого будущего, это так. (Хотя для меня теперь и этот историк, и это будущее – под вопросом). Но для меня – эта точка конечная. Упирающаяся в тьму.

Здесь, в этой стране, мне уже ничего не хочется. Все стало – всё равно…

Не всё равно только одно: что будет с моими детьми? ЧТО БУДЕТ С МОИМИ ДЕТЬМИ? Одна боль, один вопрос. Денно и нощно: ЧТО БУДЕТ С МОИМИ ДЕТЬМИ?

Вот уже двадцать дней скоро… Но сегодня – ничуть не легче, чем в первый день, когда узнала.

Представляешь, Володя, какое жуткое совпадение:

10 сентября, утром, раздаётся телефонный звонок:

– Убит отец Александр.

Гавр едва успевает сообщить мне эту страшную весть, – и вновь звонок:

– Вышла ваша книга.

Вышла книга Гавра. Та самая, с Анютиными иллюстрациями. Которую мы так ждали… И – нет сил на радость. Один ужас в сердце.

УБИТ ОТЕЦ АЛЕКСАНДР.

Господи, ЗАЧЕМ?! ЗАЧЕМ это случилось? ЗАЧЕМ Ты его не уберёг?

“У тебя нет такого ощущения, что *мы все* в ЭТОМ виноваты? Что мы мало молились о нём?” – спросил меня Феликс.

ДА. ЭТО ТАК, ответила я. И я не знаю, как теперь жить. С этим ощущением – вины…

В одной из заметок корреспондент с горечью: “Бессмысленная смерть…” – Больно царапнуло сердце.

Что значит – бессмысленная?

Разве бессмысленна смерть Христа? или первых христиан? Всех христиан-мучеников…

Одним мучеником стало больше. На небе.

Одним прекрасным человеком меньше. На земле.

Россия умеет убивать лучших своих детей.

Россия – бескрайняя Голгофа… Всем хватит места!"

ВСПОМНИЛОСЬ: “УБЕЙ ЕГО, ВАСЯ!”

И опять то же жуткое ощущение: мир наполнен выросшими васями…

* * *

…Живу какой-то механической жизнью. Известие застало меня за деланием генеральной осенней уборки. Так и не завершила её.

Так всё и стоит, и лежит, и валяется – как в то утро… И покрывается печалью и пылью… Дом развороченный, как землетрясением. Душа развороченная… Руки опустились и не подымаются. Делаю только самое необходимое: кое-какую еду, совсем простую, да обихаживаю Ксюшу. И всё это – как во сне. Так хочется проснуться, Господи! И чтобы всё ЭТО оказалось сном…

Но я засыпаю и просыпаюсь в этом сне – а *проснуться* мне так и не удаётся… Какой страшный сон – эта жизнь.

И неужели… неужели пробуждение от этого кошмара возможно только в смерть? Неужели только когда умрём – тогда только и проснёмся?…

* * *

Как же мне жить теперь? Мне – от природы правдивому человеку.

Я всегда говорила правду своим детям. Это было одним из неколебимых принципов моей жизни. Никакой лжи – ни в большом, ни в малом.

Так как же мне жить теперь?

Я улыбаюсь своей девочке, я улыбаюсь… Я даже смеюсь вместе с ней иногда, ведь она так любит посмеяться, повеселиться… Да она просто жить без этого не может. И я разыгрываю перед ней маленькие репризки, я напрягаю всё своё остроумие, – и она благодарно хохочет… И я смеюсь вместе с ней… Но чего мне это стоит, Господи!

И получается, что я лгу. Лгу своей девятимесячной дочке.

Потому что улыбка моя – через силу, и смех – сквозь слёзы.

Я раздвигаю, раздираю непослушные губы в невозможную эту улыбку, и мне больно, но я приказываю глазам не плакать.

…А потом, покормив её перед сном, я вливаю в неё со своим молоком – свою тоску… И она плачет по ночам. Она вскрикивает во сне. Господи, неужели ей снятся мои – страшные сны?

…И по утрам, проснувшись, она смотрит на меня усталыми, грустными, недетскими глазами.

КОГДА-ТО ДАВНО Я НАПИСАЛА КНИГУ О ДЕТСТВЕ СЫНА

Когда-то давно я написала книгу о детстве сына. Эта книга заканчивается словами, полными самой искренней, неподдельной веры:

“Ах, как хочется порой стать ребёнком! Выплакаться от души и от души посмеяться. Сказать дураку, что он дурак. Крикнуть звонко, безбоязненно: ”А король-то голый!…" А тому, кого любишь, сказать тихо и просто: “Люблю”, не раздумывая, стоит или не стоит говорить это. И вдруг увидеть, что небо – синее, снег – белый, роза пахнет розой, а жизнь создана для радости и удивления…"

Роза пахнет розой, а жизнь создана для радости и удивления… Теперь я не могла бы написать таких слов. Теперь – после 9 сентября.

Ребёнок, чтобы стать полноценной личностью, должен дышать воздухом счастья…

Таким воздухом дышал мой сын. Наше тогдашнее одиночество и нищета ничуть не отравляли этого волшебного воздуха, наполняющего каждый наш день. Одиночество и нищета были не содержанием жизни, а всего лишь простенькой, невесомой рамой для чудесной картины, полной красок, света и смысла…

Или просто я была моложе на пятнадцать лет и не вся кожа ещё была содрана? Или вера моя была тогда сильнее? Или я была больше сосредоточена на ребёнке и совсем мало – на внешнем?

Или я забыла уже, в каких муках и с каким трудом созидался этот волшебный воздух счастья?…

А каким воздухом будет дышать моя дочь?

Неужели я никогда не смогу улыбнуться ей с *лёгкой* душой? Неужели я никогда не смогу сказать ей: “Девочка моя, жизнь прекрасна!” (не думая при этом, что она – ужасна…)

* * *

Кажется, мы опять опоздали. Сначала – родиться, теперь вот –

уехать. Хотя зачем я себя растравливаю этим: уехать, уехать?…

* * *

“Дорогой Володя! Посылаю тебе фотографии отца Александра, и стихи, ему посвящённые. Ему и Новой Деревне. Что опять же – ему. Потому что Новой Деревни без него – для меня не существует. И не только для меня, наверное… Фотографии давние, здесь ему нет ещё и сорока. Боже мой, такой молодой! А ведь он мне тогда уже казался мудрым старцем…

Эти снимки сделаны в сентябре, пятнадцать лет назад. Я тогда была в ожидании Антона и жила всю осень в Новой, вблизи храма, общаясь почти ежедневно с отцом Александром. Однажды пришла с фотоаппаратом и поснимала его в церковном дворике.

Стихи написаны в те же времена: середина семидесятых. Тогда многие уезжали. И из прихожан новодеревенского храма тоже. Уезжать, не уезжать? – этот вопрос встал тогда и передо мной. Но отец Александр, благословивший многих на отъезд, сказал мне: “Это – не твой путь”. И я почувствовала облегчение от его слов.

“Нам этого не можно”, – как говорит Агафья. Помнишь? Женщина из таёжного тупика, о которой уже несколько лет пишет в “Комсомолке” Песков. Отвечает так на все призывы и уговоры переехать из тайги в посёлок, ближе к людям, к цивилизации. “Нам этого не можно, батюшка не благословил”. Вот так же и я. На все призывы поискать более благословенного места под солнцем могу ответить словами этой простой женщины: “Не можно. Батюшка не благословил”.

А вот эти стихи.

ОТПУЩЕНИЕ
посвящается отцу Александру

Стучат часы в твоей сторожке
С окном на деревенский храм,
На кладбище… – где бродит кошка
По летним скошенным цветам…

Стучат часы… И, кучевые,
С тенями синими – вне пут! –
Как государства кочевые,

Июля облака плывут…

Пустынна Новая Деревня.
Трава горячая звенит…
И зной пульсирует в деревьях.
Ты говоришь: “Вошло в зенит”.

И я ответ прочла – во взгляде,
Под стук часов – живой воды…
“Кто без греха? А впредь – не надо.
Жизнь продолжается… Иди.”

А вот ещё одно.

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ

Светом Яблочного Спаса
Наливается душа…
Утра своего и часа
Дождалась я, не спеша.

И горит Преображенье
Чистым пламенем зари…
Знаков и предчувствий жженье…
“Имя, имя назови!”

Хор кузнечиков за храмом…
Деревенский мир, приют.
В окнах выставлены рамы –
Слышно – певчие поют…

И антоновкой закатной
Пахнет клирос и притвор…
Золотом листвы закапан
Маленький церковный двор…

Над сторожкой тихо рдеет
Августа – рябины ветвь…
И в душе неслышно зреет
Плод – спасение – ответ.

Есть и ещё. Но это – в следующем письме…"

ВЧЕРАШНЯЯ ПРОГУЛКА

Сначала ты спала на лоджии – среди неутомимо доцветающих в этой лютой осени настурций и бархатцев…

А внизу – по двору ездила поливалка и поливала грязные осенние лужи… Наш советский сюр. А внизу, во дворе, тёмной змеёй, тяжело шевелящейся под тёмным дождём, стояла очередь к винному магазину. Другая змея – покороче и расцвеченная пятнами зонтов, утыкалась своей головой в запертые двери ДЭЗа: сегодня должны были выдавать “визитки”. Очередная совковая придумка: как всех уравнять в правах и возможностях.

А поливалка всё ползала и поливала…

Унылую эту картину скрашивали лишь оранжевые огоньки настурций и бархатцев, да две зарумянившиеся на осеннем холоде щеки, весело выглядывающие из опушки комбинезона…

А потом мы пошли с тобой гулять – туда, вниз. Потому что там – любимые твои деревья и падающие листья… И ты никак не можешь без новых впечатлений.

Мы выезжаем с тобой на улицу. Вверху, на нашем тринадцатом этаже, ещё солнышко, а здесь уже сумеречно. Здесь идёт дождь. Сероглазое существо, высовывающееся из коляски, неутомимо осыпает меня вопросами. Точнее – одним-единственным вопросом, но звучащим без перерывов: “Ы? ы? ы?” На языке моей девочки это означает: “Что это? кто это?”

– Ы? ы? ы?

Кто это?! – хочу я спросить вместе с ней, с содроганием оглядываясь вокруг…

Они выползали из намокших кустов, из-под набрякших деревьев, из неосвещённых дверей подъездов, отпочковывались от винной очереди и от очереди за “визитками”, отлеплялись от стен домом, выныривали из-за угла… Кто это?!

Тараканьи повадки, мутные глазки, плоские переносицы; речь громкая, крикливая, но ни одного слова не разобрать…

Или наша планета давно и плотно заселена инопланетянами, или нас с тобой, моя девочка, занесло в чужую галактику…

– Ы? ы? ы?

Но у меня язык не поворачивается сказать тебе: это люди. Я говорю тебе: “Это – некусы”, вспомнив Антошино словечко.

Страшная догадка. А ведь, наверное, не только по Божьему образу и подобию сотворены существа, населяющие землю?… Творил не только свет. Творила и тьма. И уж она-то пекла, строгала свои “произведения” без устали и сомнений.

И напекла, и настрогала…

И я везла свою девочку по планете странных не-людей, пугающих недо-человеков, возникающих из хлюпающей холодной сырости, катила коляску по грустной, печальной планете сумерек и дождя…

НОЧНОЕ ЗАСТУЛЬЕ

– Просто у тебя настроение сейчас такое, – говоришь ты.

– Вовсе нет. С настроением я справилась. Видишь, я улыбаюсь? Тебе и детям…

Просто я поняла, что *здесь* ничего уже не будет. И наши старания – напрасны. Здесь, в этом театре абсурда, в этом театре ужасов. Не нужны здесь ни наши книги, ни наши дети… Мы здесь чужие. Здесь живут по другим законам. Нам эти законы никогда не понять. И не принять…

– Но толпа всегда жила по звериным законам. Неужели для тебя это открытие?

– Но я не могу жить, когда вокруг – толпа! Я боюсь её… Боюсь за детей.

– Ты думаешь, где-нибудь в другом месте тебе не будет страшно?

– В другом месте будет по-другому. А здесь… Я никогда не прощу им отца Александра. Никогда!

Ты долго и грустно молчишь. Ты с трудом говоришь слова, которые меня не утешают, не ободряют, не внушают надежды:

– Толпа она везде толпа…- говоришь ты. Говоришь то, что я и так знаю. Но с чем не могу смириться.- Та же толпа убила Попелюшко. Убила Лютера Кинга. Улофа Пальме. Индиру Ганди… Та же толпа распяла Христа… И кто-то до сих пор не может простить этого евреям. Но не евреи убили Христа. И не поляки Попелюшко. Не шведы Пальме… *Толпа.* Среди которой нам жить – где бы мы ни жили…

Наше традиционное ночное застулье. Крошечная прихожая, три стула, отключенный ото всего мира телефон, посапывающие за стеной дети… Остывший чай и всё те же вопросы, на которые нет ответа…

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ “ПАРИ МАТЧ”

Варю на обед макаронные рожки, что по нонешним временам почти роскошь, и перелистываю “Пари матч”…

“Я считаю, это нормально – ссориться из-за ужина”. Исповедь среднего француза. Смешно. И… страшно. Страшно, если представить хоть на миг, что мы живём *там* – в благополучном обществе, среди благополучных обывателей, для которых *нормально* – ссориться из-за ужина: из-за недожаренного или пережаренного бифштекса (или что *там* они едят?)

“Какой кошмар! Какая бездуховность!”

И тут же перед глазами – сцена:

Сегодня. В гастрономе. Две молодые, на вид вполне интеллигентные женщины. Они сцепились из-за куска масла. Они готовы были выцарапать друг другу глаза. А какими словами они крыли друг друга!…

ЭТО – БОЛЕЕ ДУХОВНО? Убивать друг друга из-за куска еды!

На днях один знакомый писатель сказал: “Наступает эпоха песен и стихов”. И в ответ на недоуменное молчание слушателей пояснил: “Когда в магазинах кончатся даже раскрашенные пакеты, и туда незачем будет ходить, все забудут о еде и начнут сочинять стихи и петь песни”.

Его бы устами…

Варю макаронные рожки на ужин и радуюсь, что хотя бы они ещё не кончились; на несколько дней хватит. И мне унизительна моя радость. Она меня возвращает в пещеру.

Нет, ещё дальше… – куда, Господи?

Так что же нам осталось в этой стране? Радоваться килограмму еды?

– Это от нас зависит: чему будут радоваться наши дети.

Ты – мудрый. Ты всё говоришь правильно.

Только что мы скажем нашим детям в то прекрасное утро, когда нам нечем будет их накормить? Радуйтесь солнышку, дождику, воробушку за окном?…

Уже сегодня мне трудно исполнять своё исконно женское, наипервейшее: накормить.

“Но человечество совсем недавно сумело накормить себя. Оно всегда жило трудно. Всегда с трудом добывало себе пропитание. И радовалось, добыв. Это, в общем-то, нормально…”

Ты – мудрый. Ты можешь на что-то опереться в этом хаосе.

Но как быть мне – не мудрой?…

БРАТ И СЕСТРА

– Какая у нас Ксюша…

С улыбкой глядя на сестру, мальчик подыскивает слово.

– *Смешна-ая*… – певуче, с непередаваемой нежностью говорит он. – Как цветочек в листиках.

* * *

– Посмотри на наших детей! Спроси у них: разве им плохо живётся? Спроси! – говоришь ты.

“ЭЙ, ТАМ, НА ЛЕТАЮЩЕЙ СОСКЕ!…”

– Эй, здесь!…

Здесь. На Речвоке. На нашем острове. Здесь…

Где скрипка на стене и картины Чудесного Художника. Где закаты и белый храм из окна – на горизонте, среди лесов, над кронами, зелёными, алыми, прозрачными… Где выщербленные половицы, певучие, особенно по ночам, когда идёшь по ним на цыпочках… Где азиатский фонарь в углу, озаряющий дом южным солнцем, фонарь, привезённый когда-то из экспедиции Чудесным Художником и доставшийся нам по наследству… Где амарилис и цикламен на окне, и каменная роза, и смешное растение, прозванное нами Иван-Иваныч, и цветущий то и дело восковик, цветущий тяжёлыми, пахучими гроздьями, посеребрёнными каплями нектара…

Может ли цветок на окне спасти от хаоса за окном?

ДЕВОЧКА У ОСЕННЕГО ОКНА

Сначала улетела её мать. В Америку погостить. И не вернулась…

Теперь улетел её отец. Тоже в Америку. Тоже погостить.

Вернётся ли он, она не знает.

Девочка сидит у распахнутого окна, в окно врывается сырой октябрьский ветер, за окном вечер, тёмный, как ночь, и в чёрном космосе над домом то и дело вспыхивают и гаснут движущиеся красные огни… На север от дома – Шереметьево.

– Ещё один полетел… – говорит девочка, высовываясь в сырую ночь.

Она оборачивается ко мне удивлённо-печальными глазами. Глазами, в которые больно смотреть.

Девочке четыре с половиной года. У неё маленькое худое тельце кузнечика и лицо усталой женщины. Мне страшно подумать: о чём она думает? Какие недетские мысли роятся под этой каштановой чёлкой, нависающей сухим дождём на круглый печальный взгляд?…

Лицо узкое и худое, глаза огромные и глубокие, вокруг глаз синева. Эти глаза никогда не улыбаются.

С девочкой трудно.

Её привели к нам на полдня, и эти полдня длятся уже очень долго. Я изнемогаю от напряжения, от жалости, от страха: а вдруг она о чём-нибудь спросит меня? Про то, знаю ли я, куда улетел её отец. Ведь ей сказали, что в командировку в Африку. Но мне кажется: она прекрасно знает, куда он улетел на самом деле. И я со страхом жду вопроса…

Но девочка ни о чём не спрашивает.

Её мать была искусствоведом. Здесь, в России. Теперь, в Америке, она ухаживает за пожилой тётушкой. Имея за это крышу над головой и американский прожиточный минимум.

Тоскует ли она при этом о дочери? Терзается ли, сделав свой выбор? Этого никто не знает…

Теперь девочка живёт с другой женщиной, которая пытается заменить девочке ту, которая променяла её на американский прожиточный минимум.

Эта другая женщина – моя сестра. Она полюбила девочкиного отца и сразу, без всяких подготовительных девяти месяцев, стала мамой. Таким образом, девочка, следящая за огнями самолётов в ночном небе, – моя неожиданная племянница. Теперь она моя племянница.

Пока мне с ней трудно и страшно. Я всё время боюсь сделать ей больно. И при этом всё равно невольно причиняю ей боль – прикасаясь, улыбаясь, беря на руки свою дочь. Свою Ксюшу.

Девочку я тоже беру на руки, ведь она ещё малышка, и целую её, и глажу по головке, но взгляд её такой далёкий… Она не откликается на ласку и словно бы даже не чувствует её. Она думает о своём.

Трудно. Потому что девочка ни минуты не может заниматься чем-то одним. Всё вынуто из шкафов, снято с полок. Дом вывернут наизнанку. Всё время звучит требовательный, нервный, жалобный девочкин голосок: “Дай, дай это, пожалуйста! Сними, дай!” Берёт, смотрит и тут же отбрасывает, и уже на другое нацелен её тоскующий, мечущийся взгляд и умоляющая рука: “Дай скорее! Дай!”

Она пытается убежать от своей тоски – и не может. Она пытается заглушить её всё большей дозой новизны: “А это у тебя что? Дай мне скорее, дай, дай!”

И опять она – у распахнутого окна. Смотрит. Думает…

Я вспоминаю, что она уже неделю ходит в новый детсад.

– А как тебе…

Она перебивает меня, не дослушав.

– Всё хорошо, – быстро отвечает она.

– Но я ещё ни о чём тебя не спросила.

– Да? – удивлённо-рассеянно.

– Я хотела спросить тебя про детсад.

– Всё хорошо, – твёрдо, без капли эмоций выговаривает она.

– А как воспитательница?

– Очень хорошая воспитательница, – почти по складам произносит она.

– А ребята?

– И ребята. Тоже. Очень хорошие, – отчеканивает она. И чтобы закруглить этот разговор: – Все! Все очень хорошие.

Смотрит. Думает…

Печальная девочка у распахнутого окна, с головкой, окунутой в сырую ночь…

* * *

Это невыносимо: какие-то отписки повсюду…

С скорбной надеждой разворачиваем по утрам газеты, ждём, что кто-то (кто?) скажет наконец о том, ЧТО на самом деле

произошло.

Ждём сообщений о демонстрациях, о митингах протеста.

Ни-че-го. Тихо.

“Перевёрнута ещё одна страница нашей истории… Чёрная страница. И что дальше… что нам ещё предстоит пережить – Бог весть…” – говоришь ты.

“Наверное, я должен написать, – говоришь ты. – Назвать всё своими именами”.

И тут мне стало совсем страшно… И я поняла, ЧТО кроется за строками сухих и вроде бы бесстрастных информаций.

СТРАХ.

Я представила: вот *они* входят в наш дом. В своих скрипучих сапогах…

Этот жуткий скрип слишком уж отчётливо зазвучал у меня в ушах – словно бы я его слышала уже не раз…

“Господи, если они посмели поднять руку на НЕГО, то что их остановит?…”

– У нас Ксюша совсем ещё маленькая… – с горьким стыдом услышала я свой жалобный голос, с ужасом понимая, что – предаю, предаю, Господи…

“Прости меня, мученик Александр. Прости. Не за себя трепещу – за детей…”

* * *

Человеку можно отбить почки. А у меня ощущение, что мне отшибли сердце. И оно болтается теперь между небом и землёй…

* * *

К счастью, нашлись люди, которые преодолели то, что не в силах была преодолеть я.

Они сказали. Они написали. Хотя их голоса в общем бурлёже смутного времени мало кем были услышаны…

Прости нас всех, Господи.

* * *

“Никогда, никогда, никогда…” – Вскакивая ночью к заплакавшей Ксюше.

“Никогда, никогда, никогда…” – Подымаясь утром с тяжёлой головой и тяжёлым сердцем.

“Никогда…” – это гремит во мне, как колёса поезда, который никуда не едет. Железный состав, которому нет конца: “Никогда…”

Никогда. Не простить. Не понять. Не смириться.

Никогда. Не взглянуть в любящие и скорбные, всё понимающие *его* глаза. Не ощутить на своей голове добрую отеческую *его* руку, отпускающую мои грехи…

Никогда. Не пройти по маленькому, освещённому близким небом, церковному двору. И – с лёгким сердцем: “Благословите, отец Александр, сыночка и доченьку”.

Никогда…

* * *

Пытаюсь молиться.

Больно.

* * *

КАК ГОСПОДЬ МОГ ТАКОЕ ДОПУСТИТЬ?…

Или миром правит не Князь Света, а князь тьмы?…

Ты говоришь: “Это – жертва”.

Не понимаю.

Неужели Господь наш нуждается в таких страшных жертвах? Неужели Он может принять её? Он, Христос, сам ставший жертвой…

ЭТОТ ДОЖДЬ

…С того самого дня идёт дождь. Скорбный, бесконечный…

Такого дождя в моей жизни ещё не было. Может быть, не только в моей – но и вообще ещё не было. Чудится: этот дождь – явление не природное – мистическое. Чудится: это плачет Богородица. Плачет неутешно…

Я вывешиваю на лоджию распашонки – под эти горькие слёзы. Выставляю Ксюнечку в коляске – спать – под эти горькие слёзы неба… Никогда они не кончатся. Никогда Матери нашей небесной не выплакать своей печали – о каждом из нас…

Что-то совсем уж апокалиптическое в этом дожде… “Горе питающим сосцами…” – слышу я над собой, прикладывая детёныша к груди.

Не накануне ли мы Второго Пришествия, Господи?

Пора уж, пора Тебе прийти, пора вершить суд – слишком много мы натворили бед, и неподъёмны наши грехи…

Только и осталось повторять:

“Господи, Господи… Спаси наших детей, Господи!”

* * *

И вдруг услышала. Тихо, но внятно:

“НЕ ДЛЯ ТОГО Я УМЕР, ЧТОБЫ ТЫ УТРАТИЛА СМЫСЛ ЖИЗНИ, НО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБРЕЛА.”

* * *

…А потом отодвинулась лёгкая штора, и из-за шторы выглянул сероглазый ангел. Он нежно и пристально посмотрел мне в глаза, светло улыбнулся и тихо сказал: “Мама”.

апрель 1990 – июнь 1991